



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были отданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как минимум о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

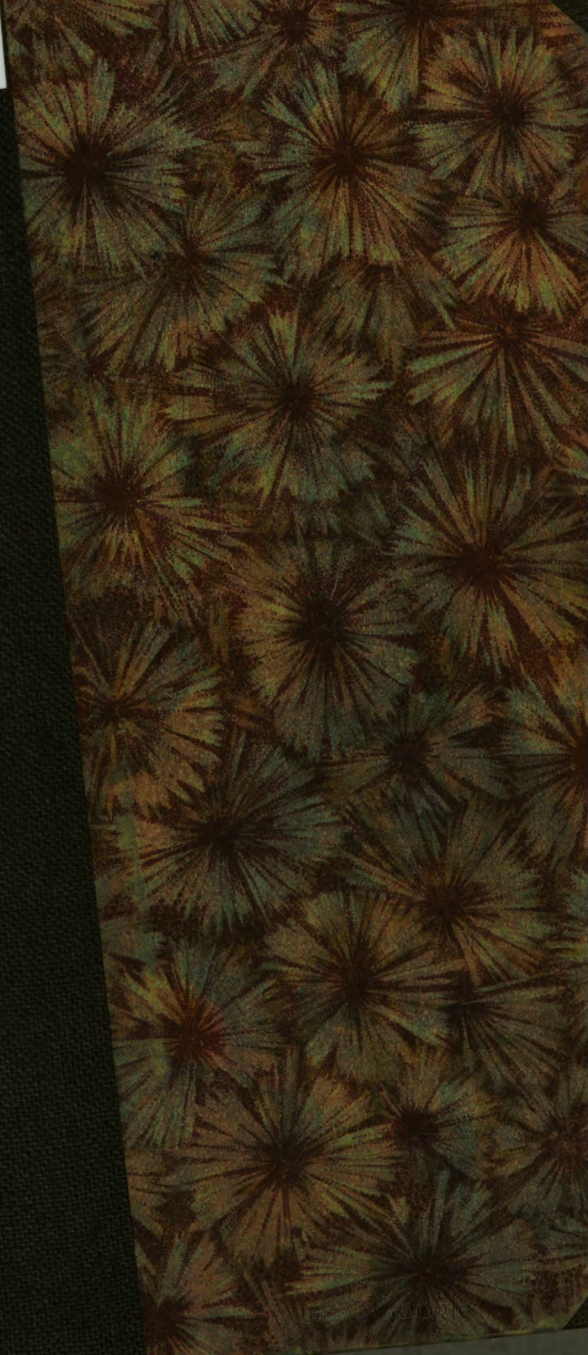
- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



HX 3VPL 1



WID-LC

PG

3948

.F7

Z12

X

ch.1



EX LIBRIS
Богдана графа на
Кичерці Кичерського
Кривцева Лисових
Чортів Архидіока
Лицара Лисарого Хвоє
та гербу Дукі Скелі



A gift to the
Ukrainian Collections from
the Library of
BOHDAN AND NEONILA
KRAWCIW

Harvard College Library



ІВАН ФРАНКО.

З БУРЛИВИХ ЛІТ.

ЧАСТЬ I.

НАКЛАДОМ АНТОНА ХОЙНАЦКОГО.

Ex libris
Bohdan Krawciw

ЛЬВІВ 1903.

З ДРУКАРНІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
під зарядом К. Бедзарського.

WID-LC

PG

3948

.F7

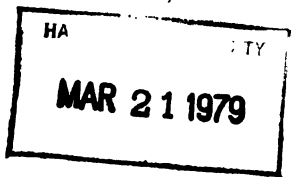
Z.12

x

ch.1



Ex libris
Bohdan Krawciw



077X323

KRAWCIW

B. N. Krawciw
UKR. GIFT

З М І С Т.

	СТОР.
Передмова	VII
Різуни	1
Гриць і панич	39

Того самого автора вийшли:

П о е з и ї :

З вершин і низин (3 кор.), опр.	К.	4.—
Мій Ізмараїд (опр.)	„	2·40
Зівяле листя (опр.)	„	2.—
Із днів журби (опр.)	„	2.—
Панські жарти	„	—·60
Поєми (опр.)	„	1·60
Лис Микита (3-тє вид.)	„	1·40
Пригоди Дон Кіхота (2-є вид.)	„	1·40
Коваль Бассім (опр.)	„	1·60
Абу Касимові капці (2-є вид.)	„	1.—

П о в і с т і :

В потї чола (3 кор., розпрод.)	К.	—.—
Перехресні стежки (3 кор., опр.)	„	4.—
Для домашнього огнища	„	2.—
Без праці	„	—·40
Полуйка (опр.)	„	1·40
Сім казок (опр.)	„	1·40
Коли ще звірі говорили (2-є вид.)	„	—·40
Захар Беркут (2-є вид.)	„	2.—
Добрий заробок (опр.)	„	2.—
Панталаха (опр.)	„	2.—

Д р а м и :

Украдене щастє (2-є вид.)	К.	—·40
Учитель, комедія	„	—·60
Камяна душа	„	—·20
Сон князя Святослава	„	—·80
Едіп царь Софокля, перекл.	„	—·60
Майстер Чирняк	„	—·50
Будка ч. 27	„	—·50

VI


Наукові розвідки:

Іван Вишенський і його твори	К. 2.—
Панщина і її скасування	" —60
Писання Котляревського в Галичині	" —15
Карпато-руське письменство XVII та XVIII в.	" 2.—
Студії на полі Карпато-руського письменства I.	" 1.—
Варлаам і Йоасаф	" 4.—
Хмельницина 1648—1649 у сучасних віршах	" 3.—
Слово о Лазаревім воскресеню	" —50
Апокріфічне євангеліє Псевдо-Матвія і його сліди в укр.-руським письменстві	" —40
Забутий укр. віршописець XVII в.	" —40
Пяницьке чудо в Корсуні	" —15
Пам'ятки укр.-руської мови і літератури I. (Апокріфи старозав.)	" 4.—
Пам'ятки II. (Апокр. євангелія)	" 5.—
Пам'ятки III (Апокр. апостольські діяння)	" 5.—
Галицько-руські нар. приповідки, т. I. Св. Климент у Корсуні (друкує ся)	" 3.—
Грималівський ключ у р. 1800.	" —40
Житє і Слово, 6 томів	" 30.—

Дістати можна в книгарні Наукового тов. імени Шевченка і в книгарні Ставропільського Інститута у Львові.

*Ex libris
Bohdan Krawciw*

Передмова.

аймаючи ся від довгих літ студіями над розвитком національного і партійного життя в Галичині, а спеціально над історією „бурливих літ“ 1846—1848, я мимохідь звертав увагу на деякі постаті та епізоди, що хоч і не стояли на першому плані історичної сцени і для фахового історика тих часів мусять губити ся в масі, або дають лише якусь одну рисочку для характеристики ширшого історичного тла, та про те приковують до себе увагу беллетриста своїм чисто людським змістом, своїм драматизмом. Такі епізоди самі запрошують ся під перо повістяря та новеліста, і я не міг оперти ся тій покусі. Правда, з намічених мною епізодів я опублікував доси лише два: „Герой по неволі“, первісно написане по польськи як один розділ повісти „Lelum-Polelum“ і надруковане також по польськи в скороченю в видаванім д. Катнером календарі „Lwówianka“, та ширшу повістеку „Гриць і панич“, друковану в Літературно-науковім Вістнику 1899 р. Надто були в мене від давніх літ порозпочинані ще деякі оповідання з сього циклю, головню оповідане „Різуни“, яке я одначе викінчив аж сього року.

VIII

В отьому виданю я міркував із разу подати всі оповідання „З бурливих літ“ у однім томі, але побачивши, що задля обьому матеріялу се неможливе, ділю їх на два томики; призначене первісно для сього томика оповідане „Герой по неволі“ буде поміщене в другім томику. А тепер іще кілька слів про жерела тих двох повісток, що поміщені в отьому томику.

Певна річ, історична повість — не історія, а повістяр, навіть коли він користуєть ся історичними документами і малює факти згідно з ними, не повинен таїти перед собою і перед публікою, що він ані на хвилю не перестає бути белетристом, „трувером“, тоб то винахідником по щасливому вислову середньовікових Французів. Історичні документи, навіть хоч як пильно й щедро б він використовував їх, дають йому поодинокі риси до характеристики часу, бліді контури людей і подій. Те, що творить суть артистичного твору — індивідуальне жите, рух і гепло мусить автор надати їм сам. Певна річ, і історик має по троха анальоґічне завданє, але лиш анальоґічне: він мусить із документів відгадати і відтворити перед читачем духа й характер часу, мусить віднайти по за тисячами дрібниць основну течію, по за відірваними явищами великий закон розвою, по за індивідуальними рисами — типове. Беллетрист навпаки, ловить на лету самі явища, в вихрі історичних подій він хапаєть ся за індивідуальність, виторочуючи її мов червону нитку з різнобарвної тканини, і тільки на тій індивідуальности, мимохідь, немов рікошетом показує великі історичні події, дає нам глядіти на них ніби через невеличке віконце. Його ціль тут як і всюди инде — малюване людської душі в її поривах, пристра-

IX

стях, змаганнях, тріумфах і упадках; чим живіше він на данім історичнім тлі змалює своїх героїв власне як людей, а не як манекени в історичних костюмах, тим кращий і тривкіший буде його твір.

Усе те я говорю, розуміть ся, не про domo mea. На скільки мені вдало ся в отсих повістках змалювати живих людей і разом із тим віддати також кольорит і настрої даних історичних хвиль, не мені про се судити. Мої міркування нехай будуть свідомством того, як я розумів своє завдання, а не осудом, як я виконав його. Для такого осуду я подаю тут деякі матеріали.

Оповідане „Різуни“ основане в першій лінії на оповіданю мойого пок. батька, який не раз, хоч і загально, згадував про переполох, зроблений на Кальварії приходом великої громади мазурських різунів у осені 1846 р. Оттим то перший нарис сього оповідання в віршованім обробленю входив у склад поеми „Панські жарти“, основаної також на батькових оповіданнях. Та пізнійше, перероблюючи сю поему для друку, я викинув сей і деякі иньші зайві епізоди і пробував обробити звістку про прихід різунів на Кальварію в окремій поемці. Та й сей плян я закинув, надивавши 1884 р. в архіві д. Вол. Федоровича в Вікні лист одного сучасника, де подано ось яку звістку про сей, історикам того часу, скільки відаю, незвісний факт. Лист писаний з Бірчі 18 жовтня, три дни по факті, і ось що говорить про нього: 15 tego miesiąca był odpust na Kalwaryi, gdzie się znajdowało z 80.000 ludzi, a trzecia część z tego przez Birczę się wlekła. Możesz sobie przedstawić, jaki to był przyjemny widok przypatrywać się tym zbój-

com, którzy szli na Kalwaryę pozbyć się grzechów zabójstwa, których się dopuścili, aby mogli na nowo zabijać i mordować. Na Kalwaryi było by niezawodnie przyszło do jakiego zaburzenia, ale były cztery kompanie wojska w bliskości i cztery armaty. Jednakże jednej nocy, jak się zdaje, złodzieje musieli narobić trwogi i wszyscy gdzie kto mógł uciekał, bo jak gruchnęło, że rano już mnóstwo wyrznęli, to możesz sobie wystawić, co się tam działo: komisarzy i księża unicy z klasztoru aż patynki pogubili, a panny lwowskie w koszulach po lasach się błękały. Wojsko potem chwaliło się, że jak by nie my, to by tu wszystkich wyrznęli Polacy, — a to żeby jeszcze większą nienawiść między ludem rozniecić". Автор сього листа підписаний „Adam“ — прозвища я не міг довідати ся, очевидно се той сам Адам, який у нарисї Йосифа Якубовича „Światło i cienie“ оповідає про свою „Обронę двору i miasteczka Birczy w ziemi sarnockiej r. 1846“ (див. Album Lwowskie, wydane przez Henryka Nowakowskiego, Lwów 1862, стор. 201—203). Значить, сей п. Адам по троха історична фігура, хоча теперішні польські історики того часу, як Осташевські-Баранські та Шнір-Цепловські сей епізод поминають мовчанкою.

Далеко виднійшою фігурою був один із героїв другого оповідання, поміщеного в отсій книжці, Нікодим Пшестшельский. Історики польської конспірації 1846 р. подають, що він разом із своїм братом Вінкентієм був організатором революційного руху в турецьким повіті. Вони оба, як твердить Шнір-Цепловські (Z przeszłości Galicyi 1772—1862, tom II., Lwów 1894, стор. 172—173), разом з Альбертом Стшельцким удержували тісні зносини з повстан-

цями в Сяніцкім, але ревізія, dokonana д. 22 лютого через комісію прислану в Самбора разом із сильною військовою асистенцією перешкодила виконанню їх намірів“. Троха більше деталей подає Осташевські-Бараньські (Krwawy rok, opowiadanie historyczne, Zloczów, стор. 166—167), хоча наплів дурниць, роблячи організаторами турецького повіту Льва Мазуркевича, емігранта, та Юліяна Госляра, що в сам день різні тільки що прибув із Угорщини до Гачова і там був арештований Мазурами (пор. Schnür-Perłowski, Z dziejów Galicyi, t. II, стор. 164). Осташевські-Бараньські подає, невідомо на якій підставі (бо похвальним польським звичаєм оба ті пани не цитують своїх жерел), що Нікодим і Вінкентій Пшестшельські були державцями Турки, що обік них агітував ще третій Пшестшельські, Альберт, властитель дібр Комарники (Шнір-Пепловські, як ми бачили, знає про Альберта Стшелєцкого, а не Пшестшельського), і пише, що відділ у Турці був „wscale liczny“, але в передодень вибуху хтось зрадив конспіраторів. Довідавши ся, що староста Гіцгерн уже перед тим вислав сильний відділ війська до Турки, (значить, плян мусів бути вже перед тим зраджений!) мусіли занехати свій намір. І справді прибув сильний відділ війська під проводом протоколіста Костгайма, який протягом чотирох днів переводив ревізії. Рівночасно коштом заряду дібр камеральних утворено численні і сильні відділи урльоппників під проводом головно стражників фінансових“.

Цікаво, що оба польські історики промовчали те, що діяло ся далі, і при тім промовчали одно дуже інтересне свідощтво, бо власну заяву Нікодима Пшестшельського. Вона була надрукована в 1848 р. в ч. 8 польської газети

XII

„Rada Narodowa“, виданім д. 29 цвѣтня. По-
даю сей документ, що був головною основою
моєго оповідання, в дословному тексті.

„Ja Nikodem Przestrzelski, więzień stanu,
w r. 1846 w miesiącu lutym przed tajną policją
i strażą finansową uchodząc, d. 25 lutego w wie-
czór przybyłem do wsi Stuposiany cyrkułu sa-
nockiego, mej niegdyś dziedzicznej, z prośbą, by
mię jej gromada przed ścigającą mię siłą ukryła.
W tym celu powierzyłem się najprzód kmieciowi
Hryc Dziuryk, który z radością mię powitawszy,
wszelką pomoc obiecał i słowa swego uroczyscie
dotrzymał; albowiem najprzód zawiadomił o mym
pobycie swych sąsiadów: Fedia Turków, Andreja
Mycak wójta, Jurka Maynus, a w końcu całą gro-
madę, przechował mię częścią w swej chałupie,
częścią w lesie cztery przeszło tygodnie. Gromady
tej kmiecie kolejją karmili mię, dzieląc się ostat-
nim kawałkiem chleba ze mną, i kolejją doda-
wali mi codzien innego towarzysza mego ukrycia
dla obrony i pociechy mojej, nadto przesyłali mi
przez tychże wysłanników wiadomości o usiłowa-
niach i krokach przez władzę do mego wysłedze-
nia poczynionych, a w szczególności donieśli mi,
że Czaczkowski, rządca dóbr kameralnych Łomna
w miasteczku Lutowiskach podczas targów i jar-
marków głosił i obiecywał 200 zł. m. k. nagrody
za wysłedzenie moje, i zarazem przysłali mi za-
pewnienie, że żadne obietnice nie zdołają nakło-
nić ich do wydania mię; że mię przeciw kaźde-
mu z narażeniem siebie bronić będą. Dotrzymali
wiernie tego przyrzeczenia; bo gdy powzięto po-
szlakę, że się ukrywam w lasach gór sanockich
i wysłano komisarza cyrkułowego i finansowego
z oddziałem wojska, aby za pomocą gromad kil-
kunastu wsie okoliczne i lasy wspomniane przejść,

XIII

przeszlakować, przerewidować, gdy kolej rewizyj przyszła na wieś wspomnianą Stuposiany, dwór i mieszkanie p. Leszczyńskiej przetrząsać zaczęto, natenczas wójcik Hnat Majnus pilnujący oraczów w polu, tę rewizję ujrzawszy, oderwał od pługa kmięcia Fedia Turków, wysłał go do mnie do lasu z poleceniem, aby o zbliżeniu się rewizyj mię szukającej zawiadomił i w głąb lasów w parowy ukrył; zaś oraczom w polu będącym i świadkom tego polecenia najściślejsze milczenie polecił. Komisya przetrząsnawszy dwór i wieś całą, a nie znalazłszy mię, uwięziła Hryca Dziuryka, śnać przez nieznanego denuncyanta jej wskazanego, i w celu zmuszenia go do wydania mię 52 kijów publicznie przed karczmą wobec gromad przez kaprała wyliczyć mu kazała; lecz komisya skutku nie osiągnęła, bo Hryc Dziuryk z nadludzkim mężstwem kije wytrzymał a mię nie zdradził — potem go uwięziono i użyto podstępny, strasząc żonę jego, że nazajutrz męża jej powieszają, jeżeli miejsca mego ukrycia nie wyda — i udało się komisji tym postrachem wymodz od słabej kobiety wyznanie, że mię w lesie ukryto. Po tem wyznaniu las z wojskiem i gromadami rewidując na nowo, dnia 27 marca 1846 (в тексті через помилку 1847) złapano mię, a Hryca Dziuryka z aresztu wypuszczono — który o tem wszystkim co zaszło uwiadomiony żonę swą za zdradzenie miejsca mego ukrycia surowo ukarał. Fedio Turków, niegdyś przed laty odemnie za występki ukarany, po mem złapaniu powierzone mu we cztery oczy 200 zł. m. k. do schowania odniósł mi i oddał, przyłączając podziękowanie i uznanie, że kara przed laty na nim wykonana zrobiła go ze zbrodniarza uczciwym człowiekiem i z biedaka najzamożniejszym gospodarzem tej

wioski. Przeto mam sobie za obowiązek dać świadectwo prawdzi i dopełnionego przez powyższych obowiązku braterstwa, zarazem podziękować tej gromadzie, a w szczególności Hrycowi Dziuryk za ten prawdziwie braterski czyn pomocy i poświęcenia się za brata, zanim Opatrzność postawi mnie w możności dopełnienia całkowitego obowiązku wdzięczności“.

В се положене Нікодим Пшестшельський не прийшов. Остатня згадка про нього, се урядовий виказ застрілених у часі бомбардованя Львова і боротьби на барикадах д. 1 падолиста 1848 р. (див. рукопис бібліотеки Оссоліських ч. 1780, передруковано в Пепловского Z dziejów Galicyi II, стор. 319); назва Нікодима Пшестшельського стоїть там на 25-тім місці.

Мені лишаєть ся згадати ще про иньші історичні особи, згадані в тім оповіданю. Генерал Йосиф Бем, один із видних учасників польського повстаня 1831 р., прибув до Львова д. 21 серпня 1848, з тою метою, щоб обняти провід у задуманому вже тоді повстаню. Шнір-Пепловскі оповідав, що зараз по своїм приїзді до Львова Бем „удав ся до Вибрановского (коменданта гвардії народовой) і заявив йому отверто, що коли рада адміністраційна гвардії зреорганізує ся так, що в її склад вийдуть особи вказані спільно Бемом і Вибрановским, і коли та рада намість „Ради Народовой“ обійме моральний провід краю в свої руки, тоді гвардія одержить сто тисяч штук французських карабінів і 200 тисяч франків готівкою. Вибрановскі звернув увагу генерала на те, що такий значний набуток оружя і грошей був би, що правда, для гвардії дуже пожаданий, але сповнене условин, від яких він залежав, являло ся

поважною небезпекою супроти „wicherzeń świętojurskiej partyi“ та ворожої постави сільського люду“ (Z przeszłości Galicyi II, 297). Очевидно реорганізація гвардії, проєктована Бемом, мала на меті поставлене її на воєнній стопі і захоплене для самого Бема „моральної“ диктатури над цілим краєм. Хочаж Вибрановскі не пішов за його пляном, то все таки Бем не переставав агітувати за ним; від пок. Івана Борисікевича чув я, що він день у день пересиджував на сьвятоюрській горі рисуючи пляни Львова для стратегічних цілей. У вересню, як каже Шнір-Пепловскі, він знову подав Вибрановському плян реорганізації гвардії народової, при помочи якої надіяв ся з добрим успіхом „rozwinąć sztandar powstania“. Рівночасно він оголосив друком якусь політичну відозву, що звернула на нього увагу влади і зробила йому неможливим дальший побут у Львові. Сеї відозви мені не доводило ся бачити; польські історики, яким хочеть ся представити львівський рух 1848 р. зовсім неввинним і легально-патріотичним, також не цитують її.

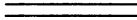
Найбільше свободи я позволив собі з Курцвайльом, зідентифікувавши його з комісарем, що 1846 р. робив трус у Ступосяні. Дійсний історичний Курцвайль був львівський швець і цехмістер, Чех родом, якого підозривали за шпionство. Д. 2 липня його арештувала гвардія народова разом із урядником магістрату Штроплем буцім то за підбурюване вояків проти гвардії. Його держали пару день у арешті, потім передали судови, який одначе випустив його на волю. Цитована в оповіданю співанка про Штропля і Курцвайля див. Kurjer Lwowski 1848, ч. 6, стор. 24. В тій самій газетці ч.

XVI

7, стор. 37, поміщено також гумористичний протокол із Курцвайлем, де вчислено всі його злочини, а на стор. 963, карикатурний рисунок з подобиною його й Штропля.

Сі нотатки для історика, та вони можуть придати ся й критикови, якому-б захотіло ся розібрати історичний зміст мого оповіданя.

Іван Франко.

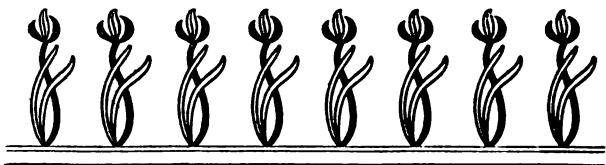


Р І З У Ж К.



З БУРЛИВИХ ЛІТ.

1



Лист Маньки з Городецького до Касі з Янівського передмістя.

Фельштин, д. 25 серпня 1846.

Дорога Касуню!

Не дивуйся, що пишу до тебе з Фельштина і що дістанеш від мене лист о тиждень швидше, ніж я сама буду могла бачити ся з тобою. Несподівана пригода, про яку хочу тобі написати, опізнила поворот нашої компанії з Кальварії до Львова. Прошу тебе, піди до моєї мами і скажи їй, що ми всі здорові і добре нам поводить ся. А що не вертаємо разом з Личаківською компанією, то тому винен кс. Капуцин Валігура — знаєш, той такий поважний, з сивою бородою, що так довго любить сповідати і так гарно розтрясає сумління. А властиво винна дурна Юлька Пере-

дятковичівна, що випапляла перед кс. Капуцином... А властиво винні ті страшні люди — ой Господи, як я настрашила ся, ще й доси тремчу, як згадаю ту ніч! — винні ті поганці, ті прокляті, нещасливі мазурські різунки.

Та чекай, нехай розповім тобі все за порядком. Але моїй мамі не читай сього листа — розумієш? І нікому не читай... і пану Ігнацови не показуй, бо я б тобі очі видерла. І не кокетуй його, бо як би він мене зрадив, то волів би тебе, мене й його ясний шляг графити. А тепер, люба моя, слухай, яких цікавих пригод зазнали ми в тій нашій набожній мандрівці.

Ти знаєш, наша компанія з Городецького вирушила зі Львова як раз д. 15 серпня. Жалуй дуже, що ти не могла бути сього року з нами. Я властиво не розумію, чому твій тато не дозволив тобі. Я страшенно не люблю тих старих нудярів, що раз у раз люблять торочити мораль: для панни се не випадає і те не випадає і ще онте не випадає. Не бій ся, для кавалера то все випадає. Він мусить вишуміти ся. А панні то навіть піти на сьвяту Кальварію в більшій компанії не випадає.

Наша компанія сим разом була не дуже велика: пятьдесят осіб, найбільша часть із Городецького, дещо з Янівського та з Байок, переважно самі знайомі. Провідник старий Вінцентий, знаєш, той що зараз напротив сьвятої

Анни має свій домок — дуже побожний чоловік, співає всі пісні, які є в кантичці, на один голос, а Кальварію і всі святи місця й доріжки знає, як своїх п'ять пальців. А як зачне говорити про Христові муки і в'яснювати всі стації, то коло каплиць тисячі народа тиснуть ся і слухають його, а не одні то й плачуть і на тарілку гроші кидають, не згірше, як підчас казаня кс. Капуцина. Зрештою чоловік предобродушний і приглухий і в ночі має дуже добрий сон: аби компанія зібрала ся на кватиру, зараз повечеряємо, Вінцентий почи-слить свої овечки, проведе голосно молитви, відспіваємо всі „Serdeczna Matko“, тай пан Вінцентий каже:

— Ну, діти, а тепер спати в божий час!

Тай тут уже скінчила ся його денна праця; запає ся в свій кут у мушинськiм переділі тай за минутку вже везе кукурузу так що аж буда трясе ся. Ну, а молодіж тоді — знаєш, не треба тобі й казати.

У нас, у жіночiм переділі вибрали ми старшою паню Гжехоткову з Янівського. Близька сусідка твої мами, мусиш знати її ліпше від мене. От іще балакуча бабище! А обмівниця! На кожного знайде що сказати, кождому приліпить латку. Досить їй раз глянути на чоловіка, вже вона знає його цілого наскрізь, і ніколи не знайде в нiм нічого доброго, лише все саму погань. Вже я від неї наслухала ся

за час сеї подорожі всяких історій про всіх наших знайомих — Господи! Остри собі, не-бого, апетит від тепер. Як верну, то буду мала що розповісти тобі. І про твого Юзька, і про Кароля, і про Мільку, ту гордячку, знаєш? І про всіх, про всіх! Аж пальчики оближеш.

Ну, розуміє ся, що над молодшою частиною компанії, особливо над паннами, як звичайно, я маю провід. Тай не лише панни, а й кавалєри радо йдуть під мою руку. „Як панна Маня скаже, так буде“. Їжехоткова налазить ся весь день, наляпає тим язиком як помелом — і як він не відпаде їй, дивую ся! — тай аби до ліжка або до соломи, засне як щур у муці. А я мушу на квартирі всього допильнувати, за всім доглянути, всіх намістити. Тай у ночі... Ну, та про се далі, а тепер нехай тобі зачну з кінця.

Рано, вислухавши набоженства у сьв. Анни ми цілою процесією, при співі пісень рушили до Городецької рогачки. Маса народа супроводила нас. За рогачкою вже ждали нас підводи — десять фір. Ми посідали, на кожду фіру по пятеро нас, тай рушили в дорогу. На передній фірі пан Вінцентий, а на задній пані Їжехоткова. Пан Вінцентий сидить плечма до фірмана, так аби міг бачити всю компанію, і рипить зо всеї сили:

Gwiazdo śliczna, wspaniała,
Kalwaryjska Marya!

А пані Гжехоткова на задній фірі в товаристві старших женщин пищить рівночасно котячим голосом :

Szczęśliwy, kto sobie patrona
Józefa ma za opiekuna.

А в середніх фірах молодіж, панни й кавалери, посідали в суміш, жартують, регочуться, а далі пан Броніслав — то ще фігляр, як би ти знала! — затагнув своїм цапним голосом :

Cztery lata zawszem pasal
W tej tu dolinie;
Jako żywo nie slyszalem
O tej nowinie.

І тут ніби співав набожно і очи завертає до неба, а з боку незначно як не вщипне Юльку під бік, аж тога заверещала що сили :

— Пане Броніславе! Що робите!

— О, перепрашаю! — відповів він перериваючи свій спів. — В тій долині я ще не бував, то й не знав, що тут такий сильний відгомін будить ся.

Я вже знала перед тим, що пан Броніслав має до Юльки невеличку інклінацію. Чи як то казав звичайно старий дяк від святих Пятниць? Поползновеніє, га, га, га! А Юлька — знаєш, що за хитра бестія! Хтоб її не знав, той би її за святу купив. У білій сукні, синій шовковий поясок, ціла така скромненька,

бліденька, здасть ся, ось тобі завтра до манастиря вступає. „Złoty ołtarzyk“ у руці, кантичка в кишені, молитви шепче раз у раз, а на хлопця жадного й оком не зирне. Ну, думаю я собі, чекай лише, ти святоше, вже я не я буду, коли з тебе оту пиху не вигоню. А тут бачу, що пан Броніслав палить ся до неї, що тільки задля неї пристав до нашої компанії. Ну, то вже мені не багато треба, щоб пізнати, куди воно загинає ся.

Ти знаєш Броніслава. Хлопець гарний, рослий, веселий. Його батько має каменичку на Байках, мати торгує яриною, а він ніби то практикував у склепі на субекта, ніби то термінував у столяря, ніби то щось учив ся, а всього по троха. Не з одної печи хліб їв, а не наїв ся. Лінюшисько, лиш дівчатам голови завертати вмів. Колись то його батько говорив моїй мамі :

— Бою ся за свого Бронка. Ні до чого хлопець. Ще поки я живу, то ніби про око людське щось робить. Але знаю добре, по моїй смерті пустить усе моє добро за один рік тай піде в світ блукаючи або пустить ся на пси. От коби яка добра душа трафила ся, щоб його оженити, та щоб яка резолютна дівчина, от така як ваша Маня, щоб узяла його в руки, то може би що з нього й було.

Я в ванькири підслухала сю розмову тай міркую собі: „Ади, стара лобода, куди він

стріляв! Хлопчисько ні до чого, так давай його за мене висватати, навязати мені біду на голову! Чекай — думаю собі, — висватаю я тобі не таку. Будеш мати до сина розплюйхліба невістку мякушку, то буде дібрана пара^а. І зараз я подумала на Юльку. Я на неї здавна маю на пеньку, ще за Станіслава — тямеш? — що хилив ся до мене, а вона наговорила йому, і він мене покинув та оженив ся з тою зизоокою Ядвігою з під „Золотого Цапа“. О, я їй того не дарую, і вже, Богу дякувати, осягнула своє по часті! Буде Юлька згадувати сегорічну Кальварію і мою руку. Але слухай далі, нехай тобі оповім усе за порядком.

Отже виїхали ми зі Львова десь о одинацятій. Погода чудова. Горячо. Довкола поля вже переважно позжинані. Полукіпків як звізд на небі. Люди при роботі. Чути пісні, де-де димок курить ся, що косарі огонь клали та люльки пекли. На гостинці курява хмарою від наших возів, а з боків то з правої, то з лівої руки ліси шумлять, ваблять у холодок. Та годі нам: коли вибрали ся на прощу, то треба перетерпіти і спеку й куряву, а як трафить ся, то й дощ і слоту. Нехай Бог приймає за відпущенє гріхів.

У наших співаків швидко попересихали горла. Співи затихли. Пішли розмови. На тих возах, де були старші, то там розмови йшли тихі, а в середині, де їхала молодіж, то там

уже не треба тобі й казати: голосно, весело. Жарти, регіт, від часу до часу голосні викрики паннів: Йой! Мене щось тисне! Хто там торгає? Пане Станіславе, чи то так годить ся?... А прийде вибоїна, або віз наскочить на камінь та гулькне так, що всім аж свічки в очах постають, то вже віз за возом тільки й чуєш: Йой! Ах Матко Боска! Єзу! А щоб тебе трясня! Одним словом, не треба тобі багато розповідати, як то на таких подорожах буває, бо ти й сама їздила не раз тай знаєш.

Попасали ми, як звичайно, в Мшаній. Старий Вінцентий „z ducha robożności“ троха закропив ся — бачиш, у нього голова розболіла ся від сонця; прийшло ся робити йому місце на першій фірі, щоб міг лягти. Одного з першої фіри пересадили на другу, одного з другої дали до нас — ми мусіли потїснити ся. Пан Броніслав сидів з краю, Юлька в середині, а кума Шутейова, стара, суха бабуся, обік неї.

— Панно Юльцю, не зіпхайте куму на драбинку! — раз у раз приговорював пан Броніслав, та все ніби то придержує бабуся, а властиво обіймає Юльцю та тисне до себе. Вона зразу ніби сердила ся, паленіла, хотіла переїсти ся де инде, але далі на мов вговорюване затихла і лише сиділа відвернена лицем від Броніслава, віддула губи і мовчала.

На ніч заїхали ми до Городка. Тут ми мали нічліги замовлені в чотирьох домах — панни окремо від усіх інших. Ніч минула спокійно. Фіри попасли і ще таки в ночі, поки ми спали, рушили назад до Львова. Від Городка мали ми вже йти пішки аж на Кальварію і назад.

Знаєш, як то така піша подорож. З разу так забавно, сьвіжо, приємно, але потім, коли почне перемагати втома, то воно чим раз тяжше, прикрійше, нуднїйше. Спрага палить, у горлі пересохне, сьвіт тобі не милий, дорога перед очима тягнеть ся немов у безконечність, від одного стовпа до другого поки протюпаєш, то здаєть ся, вічність минула. Поки ми з Городка доволокли ся на ніч до Тулиголов, то здавало ся, що у нас ноги і всі кістки були попереломлювані, а на душі в кожного було так погано, немов би ми по дорозі всі гуртом когось зарізали: навіть дивитись одним на других було неприємно.

Я вже се знала добре, але знала також, що тепер прийдуть збірні нічліги по селянських стодолах та шобах. Отсе радієть! Отсе забава! Відплата за важкі, неприємні дні! Приходять прочани до села, добуваючи остатніх сил тягнуть набожних пісень, поки до кватири. А там заповнять обору, падуть як снопи на мураву, на приспу, на тік, де хто може, простягають ся, простують натомлені кости! Сіль-

ські хлопята й дівчата вже гурмою докола нас. За пару крейцарів натягають із студні води, наливають у миски, шапки — всі пішоходи миють ся, змивають пилку з лиць, із рук, із карків. А там інші вже розбігли ся по хатах, замовляють квасне молоко, солодке молоко, сметану, що кому до вподоби. Ось одна за одною тягнуть ся господині зі здоровенними глеками та гладущиками, з мисками та горнятами, з разовим хлібом та свіжим маслом. Радість, гамір на подвірю. Новий дух вступає у перетомлених прочан. Кавалери спочивши десять мінут схапують ся з землі мов нічого й не бувало, панни відразу, по першім глечичку квасного підметаня віднаходять гумор, роблять ся свіжі й моторні, навіть пані Гжехоткова сидить, балакає помалу і починає хвалити пана Броніслава, що веде себе дуже чемно і опікує ся панною Юльцею мов старший брат.

Підвечірок серед загального гамору, жартів і веселости. Потім до пізної ночі побожні співи перед сільською фігурою; голоси плывуть рівно-рівно по полях, по над сусідні села і гублять ся десь у сірій мряці над Стрвяжем та Болозвою. Потім невеличка вечеря: гарячі свіжі картоплі з маслом, каша з молоком, клюски з сиром, а потім у стебло! в стебло! В буквальнім значіню в стебло. Почували ми як звичайно в stodолі: мужчини в однім пере-

рубі на соломі, панни в другім на сїні, а посередині, на широкім тоці, застеленім соломою, старші жінки. Не буду тобі, дорога Касуню, описувати тих нічлїгів, бо ти й сама знаєш їх. Що за приємність! Що сьміху, жартів, вигадок! Уже одно те, що сьвітла нема, що приходить ся спати до половини одягненим, де хто впаде, — вже те одно таке незвичайне та дивне! Ся пищить, що їй настолочено ноги, тамтїй хтось зачепив ногою за косу, тїй роздерто спідницю. А з другого переруба кавалери раз по разу окликають ся, страшать паннів то мишами, то лиликами, то жабами, а кождому такому окликови відповідає пискіт а далі регіт паннів. А ледво втишить ся сей перший гамір і в низу на тоці затихне гомін старших жінок, починають ся шепти та притишені сьміхи паннів між собою; з другого переруба їм вторує глуха гутїрка мущин, поки нарештї старий Вінцентий, або хтось иньший із старших не закомендерує:

— Ну, паньство! Годї вже! Прошу спати, бо завтра встаємо дуже рано, щоб за холоду уйти добрий шмат дороги!

Робить ся тихо, але бодай так, як кому з молодїжи хоче ся зараз заснути! Близькість кавалерів і паннів, хоч і розділених від себе лавою старшого, в сні дуже чуйного жіноцтва та глупою темнотою, мав щось таке до себе, що не дає заснути, ходить по крові мов му-

рашки, а декотру по просту кидає в дрож і вона тулить ся до свої сусідки, немов би то дуже перелякана або дуже змерзла. Ну, але я се знаю, мене не здуриш. І коли Юлька отак уся тремтячи притулила ся до мене, я відразу зміркувала, яка тому причина. Мені не багато треба, щоб пізнати, що в кім кипить.

— Йой, Манюсю! — промовила вона до мене, — я чогось дуже бою ся!

— Чи то ви, пайно Юльцю? — обізвав ся з противного переруба голос пана Бровіслава. — Ах Боже мій, боїте ся? Я зараз прийду до вас! Даю вам слово, що при мні можете бути безпечні, нічого вам не стане ся.

— Ну, ну, і без вас нам нічого не стане ся, — відповіла я. — А вам би ще платити за стороженє.

— Мені? Боже борони! Я зовсім задармо! Хотите?

— Та ви мусіли б наперед у кога очий позичити! — відповіла Юльця.

Знов хтось із старших перервав нашу розмову і ми помалу втихомирили ся, позасипляли. Не знаю, чи всі там спали так спокійно та солодко, як я. Пару разів мені здавало ся, що чую ще крізь сон якісь глухі шелести, сердиті окрики: „Хто тут? Що за мара лазить? Йой, тут хтось чужий!“ А потім тут і там якесь притишене „Шшш! Пет! Хто тут?“ А потім голосний ляск мов праником по воді, і глухе:

Ой-ой-ой! Але не можу знати, чи було щось таке на правду, чи лиш мені снило ся.

Другого дня я встала здорова, осьвіжена, весела, але Юлька була якась невиспана.

— А що, як тобі спало ся? — питаю її.

— Добре, — каже.

— Не страшило що? — питає жартом Броніслав.

— Може то вам привиджував ся той з ріжками, — відповіла вона ущипливо, — бо ви мабуть про нього думаете весь день. А мене ніщо не страшить.

— Ну, ну, — думаю я собі, — вже ми то знаємо, що кого страшить. А тут бачу, що й пан Броніслав якийсь невиспаний і невдоволений: ходить мов сам не свій; не знати, чи хорий, чи сердитий, чи засоромлений.

Рушили ми в дальшу дорогу — розуміється, не досвіта, а десь аж о семій, уже сонце добре гріло. Уйшли з пів милі, і вже попріли всі як миши, потомили ся і сіли спочивати на толоці край дороги. Пан Броніслав коло мене.

— Йой, панно Маню! — зітхає важко, — повішу ся.

— Тю на вас! Тут і верби нема. Чекайте, аж дійдемо до ліса.

— І не жаль вам мене?

— А я відки до того приходжу жалувати вас? Ідїть, може вас котра иньша пожалує.

— Ви без серця.

— Шукайте такої, що з серцем.

— Ага, добре вам говорити. Вже, я шукаю, та що з того? Знайшов ще гірше зілечко.

— Що-ж я вам пораджу? Хиба шукайте далі.

— Коли бо годі. Причепив ся, як муха до меду, ніяк не відірвусь.

— Ну, то вішайте ся з Богом.

— І я так думаю. Та хотів би ще хоч до сьвятої Кальварії дійти та висповідати ся перед смертю.

— А може вона схоче вас висповідати?

— Ой, мабуть ні.

— А чи не вона дала вам сеї ночі розрішеня, таке, що ви аж йойкнули?

— О, а ви чули?

— Ну, вже чула, чи не чула. Відповідайте на питаня.

— Панно Маню, бійте ся Бога, не говоріть нікому!

— Ха, ха, ха! А я думала, що се мені приснило ся! — засьміялась я.

— Се можливо! Справді, може й мені приснило ся? — мовив він і помацав себе долонею по лівій щоці. Та зараз же з глибоким переконанем додав: — Ні, се таки на правду. Так ви кажете, що се було розгрішене?

— Або я знаю. Коли перед тим була сповідь — —

— Ні, я лише нахилив ся до конфе-
сіоналу.

— Ну, в таких разіі ще завчасно й ві-
шати ся. Висповідати ся конче мусите.

Така була наша розмова з паном Брові-
славом. Юлька її не чула. Відпочивши гар-
ненько ми встали, поставали парами на го-
стинці, затагли разом за проводом пана Він-
центаго.

Usłyszałem cudny głos,
Jak Marya woła nas :
Pojdźcie do mnie, moje dzieci,
Wzywam was, ach, wzywam was !

І з тим побожним співом на устах ми
рушили далі в дорогу.

Третього дня по вирушеню зі Львова ми
вже наблизили ся до сьвятого місця. Чим
близше до Кальваріі, тим частійше здибали
ми більші або менші компанії побожних про-
чан, що йшли туди з набожними співами, деякі
з хоругвами та дзвінками, всі в сьвяточних
одягах. Аж серце радувало ся бачити, як то
з усіх сторін пливе народ до того сьвятого
відпусту, де показана доочне мука Господа
і де найсьвятійша Мати раз у раз робить чуда.
А ще сего року! Як би ти бачила, дорога
Касуню, яка там нужда всюди по селах, який
плач та лемент! Мабуть караючи нарід за ті
страшні події, що стали ся зимою, Бог спустив
посуху, недорід. Ще туди коло Львова, то не

так дуже; де стави, де ґрунти мокрі, то ще сьє так зародило. Але там далі, де починають ся шутри та піски, то там нещастє. А ще далі, кажуть, на Мазурщині, де кров лила ся, то там, кажуть, уже й тепер люди не знають, що робити. Вже тепер голодують. Декуди селяни, спустивши ся на те, що все панське поле по вирізаню панів прийде в їх руки, не орали й не сїяли у себе нічого; у иньших засїяне навіть не походило, — одним словом, кара Божя. Тим то й пливе нарід ріками на Кальварію, тягнуть ся збіджені та помарнілі лица, підносять ся тверді, мозолисті руки, ллють ся гіркі сльози. Як би ти бачила, як перед кожною фігурою, коло кождої каплички при дорозі лежать та клячуть сотки, тисячі того народа, одні співають захриплими голосами, а більшість не співає, а ридає голосно та ломить руки! Аж страшно робить ся подумати, що буде з тим народом, як настане зима. А зирнеш потім по нашій хоч і стомленій, а все таки веселій та балакучій компанії, то якось аж соромно робить ся. Аджеж ми їх свояки, їх ближні, живемо в тім самім краю, і навіть не знаємо, як бідує та нуждує той нарід ось тут у нас під боком. Я сказала се пану Вінцентому, а він підвів очи до неба тай каже:

— Що кому Бог дав, те й має. Бог знає, на що дає одному достаток та спокійне житє, а другому панщину та нужду. А в тім —

у кожного свій хрест на плечех, кождий має своє двигати.

Я запитала пана Вінцентого, чи справді то сам пан Біг власноручно вложив на тх людей ярмо панщини тай ще дав їм у додатку нужду й голод, але пан Вінцентий не відповів на се питаня, лише нахмурив ся і відвертаючи ся буркнув:

— Глупа коза!

Ось ми вже наблизили ся до Кальварії. Здалека видно Оливну гору з костелом на верха. Червоною бляхою вкрита вежа горить здалека мов кровавий клин вбитий від землі в небо. А вся гора вкрита неначе різнобарвними мурашками — тисячами й тисячами побожних прочан. А далі по за тим чорніє ся великий карпатський ліс, покриваючи ще висші гори, і відтам пливе важка, понура хмара, але не може притемнити того блиску, що сяє від сьвятого, відпустового місця.

Ми прибули як раз у пору. Переночувавши в селі недалеко Пацлави ми рано станули на Кальварії, мали час увесь день обійти всі стації муки Господньої, всі каплички, всі доріжки найсьвятійшої Діви, а нарешті висповідати ся всі у о. Капуцина. Другого дня припадало сьвято — Внебовзяте пресьв. Діви — головна відправа в костелі. Всі приступають до причастя — велика процесія, слуханє казань, співи та молитви до

самої півночі — знаєш сама, як то звичайно буває. Але сим разом стало ся щось незвичайне, таке, що не забуду доки буду жити.

Перший день у Кальварії провели ми як звичайно. Висповідались усі. Ще вечером говорю до пана Броніслава :

— Ну, тепер можете вішати ся.

— Таки не дожидати завтрішнього съв'ята? — мовить він.

— Як знаєте. А розгрішенє дістали?

— Е, та що, від кс. Капуцина дістав, але тамтого другого ні.

— А може ліпше було би на тамте друге не лакомити ся?

А він бє ся в груди жартуючи та говорить :

Mea culpa! Mea culpa! Борю ся з покусою, та покуса сильна.

— Моліть ся, — кажу я.

— Молюсь, — говорить він, — але мабуть моя молитва не приемле Пану Богу, бо все обертаю ся не туди лицем, куди би слід.

От так ми собі балакаємо йдучи гуртом на свою квартиру. Почувати мали ми в бараках коло сьв. Рафаїла; два ксьондзи визначували там місця, мали пильнувати порядку та збирати добровільні датки. Вже геть стемніло ся. Над Кальварією стояла чорна хмара, від лісів тягло холодом, тільки від костела та від капличок за нами било золотистими пасмами

світло, розсипаючись широко по темнім тлі, немов розмикана золота вовна по сірім сукні.

А в тім нараз у сумерку залунали якісь голоси. Нам на зустріч, гостинцем бігли якісь темні постаті і кричали. Зразу не чути було, що вони кричали, але чути було страх, що летів з їх уст і розбігав ся по долині, чіпляв ся придорожних дерев, котив ся з низу на гори і темною хмарою зависав над Кальварією. А темні постаті бігли, надбігали ближше, все ближше, а з їх уст виразно, чим раз виразнійше виривали ся трівожні окрики:

— Різуни! Різуни! Різуни йдуть!

Ми всі задеревіли на гостинці. Се прокляте слово стільки разів лякало нас сього року! В запусти воно отроїло нам усі забави; в часі великого посту воно наповняло нас жахом; оповідання про кроваві вчинки тих людей мучили нас на яві і в сні, мов невідступні оси. А тепер, коли, здавало ся, все вже спокоїло ся, коли під вагою божої кари весь край окрив ся жалобою і всі людські злочини лежали безсильні, мов присипані попелом, тепер нараз знов отсей окрик! Що се значить? Чи знов повстане? Чи знов кроваві запусти? І як раз тут, на сьвятому місці? І з якої причини? Чи зголодніла чорнява шукає рабунку? Ми стояли мов у пропасниці. Не було кому вияснити нам, успокоїти нас. А гостинцем поуз нас бігли що раз нові, смертельно перелякані

постаті, і довгим ланцюхом тягли ся трівожні окрики :

— Різуни! Різуни! Різуни йдуть.

— Відки йдуть? Куди йдуть? Чого хочуть? — сипали ся безладні, прудкі запитаня. Та ніхто не відповідав на них. Трівога мов огонь по соломі бігла до перелюдненої Кальварії, де ще в костелі і в каплицях горіло світло, гомоніли набожні співи та гуділи дзвони на дзвінницях. І нараз мов у відповідь на ті трівожні окрики ревнули з усіх закутків, з усіх доріжок Найсвятійшої Матери, з усіх стадій Христової муки, з усіх капличок та святих місць скажені верески, пискоти, стогнання та ревіня :

— Різуни! Різуни! Різуни! Ратуй ся хто може!

Ніколи як жию я не чула ще такого вереску, не бачила такої страшеної картини переполоху. Подумай собі: двацять а може й трицять тисяч народа, розсипаного по цілій горі, по долинах, по стежках та закутинах, — усе те нараз верещить, мече ся, зриває ся кудись утікати, бє ся одно об одне, мішає ся, блудить у вечірній сутїни, шукає одно одного і губить одно одного. Крик і замішанина й сутїнь збільшують переляк. Ніхто не знає, відки грозить небезпека, куди тікати і де ховати ся. Жінки мліють, иньші вищать, падають на землю; найвідважнійші тратять голову.

В загальній сутолоці нічого не видно, нікого не пізнаш. Сьвітло гасне, дзвони ревуть і немов розбурхана вихром величезна пожежа бухав по кальварийській горі хвиля за хвилею скажений, масовий вереск:

— Різуни! Різуни! Різуни йдуть!

Що діяло ся з нами в ту пору, не можу тобі сказати. Перед моїми очима все закрутило ся якимось шаленим танцем. Немов ціла Оливна гора з усіма тисячами переляканого народа зірвала ся зі своєї посади і кинулась утікати, бігти кудись. Хтось крикнув: „Ратуймо ся!“ — і ми всі безтямно заверещали: „Ратуймо ся!“ Залопотіли важкі кроки. „До ліса!“ гукнув чийсь голос, і вся наша компанія мов стадо сполошених овець пустила ся бігти в низ по стернях, по невижатих нивках вівса, по загонах картоплі, в низ, потім до гори, на супротивний горб, якого горішня часть була покрита старим смерековим лісом. Тямлю, як ми падали по дорозі і зараз зривали ся биті безтямини страхом, як старий Вінцентий хрипів і кричав: „Помалу! Помалу!“ а пані Гжехоткова пищала раз у раз: „О Ёзу! О Ёзу!“ Тямлю, як Юльця, біжучи обік мене, впала і покотила ся з досить стрімкого берега в долину і як пан Броніслав скочив за нею, підняв її і взяв на руки, — але я не ждала, побігла далі, і все щезло з перед моїх очей. Як і коли ми добігли до ліса, сього не тямлю.

Проймаючий холод, се було перше почуте, коли я знов отямилась. Я глипнула довкола — скрізь темно. Мацнула рукою — підомною якесь ріще, листе, трава. Мацнула дальше — рапава кора якогось грубого дерева. Аж тепер я пригадала собі, що я в лісі. І разом з тим у моїй голові воскресли спомини цілого того невольного переполоху, що загнав мене разом з иньшими в ліс. Де я? Що зо мною? Що сталося з иньшими? Я напружила слух: чути довкола якісь шелести, щось немов тихі шепти, час від часу тихі стогнання та оханя. Ах, Боже тобі слава! Значить, я не сама в лісі! Я підвелась, сіла, і тут же в темряві мої очі побачили ясну точку. Придивляюся ближше і бачу: в видолинку, яких двацять кроків від мене, якесь дві чорні постаті, припавши на почіпки до землі, роздувають невеличкий огник із сухого листя та дрібних сухих гіляк. Перша моя думка була: різуні! Але ні! Придивляюся ближше, а се наш почтивий пан Вінцентий що сили дує на огник, а пані Гжехоткова ломав гілячки та підкладає в полумя.

— Паве Вінцентий, се ви? — озвалась я зі свого місця.

— Я, я! Се ви, панно Маню? А що, не скалічили ся?

— Здаєть ся, ні.

— Ну, то ходіть ближше. Ви певно змерзли.

— Страшенно.

— Ходіть, накладемо огонь, оґріємось тай будемо шукати решту нашої компанії.

— А щож різуни? Не чути їх?

— Нічого не чути. Мабуть хтось зробив собі жарт та пустив такий пострах по Кальварії.

— Не може бути!

Швидко розгорів ся огонь. При його сьвітлі й теплі ми набрали відваги, почали гукати, і за пів години вся наша компанія щасливо зібрала ся коло огнища. Кажу, щасливо, бо не лише нікого не хибувало, але ніхто не скалічив ся, не ушкодив ся окрім хиба дрібних задрапнень та потовчень. Старші мамуні охали та проклинали збиточників, що так переполошили хрещений нарід; молодіж жартувала та впила сама з себе і з учорашного переполоху. Різуни видавали ся тепер усім якоюсь пустою, безглуздою байкою; ніхто не міг зрозуміти, як се стало ся вчора, що один окрик яєкихось невідомих збиточників міг кинути переполох на таку величезну масу народа.

Юлька і пан Броніслав приблукали ся на самім останку до огнища. Вони надійшли з ріжних сторін, обоє якісь мов не свої. Броніслав силкував ся сьміятись і жартувати, але видно було силувану веселість. А Юлька була бліда як крейда і якась мов зовсім непритомна.

Я кинула ся до неї, почала розпитувати, оглядати, чи не вдарила ся де? Ні, рани віде не видно, а дівчина дивить ся на мене скляними очима, на питання не відповідає нічого, мов слухає а не розуміє моїх слів. Дала я їй води напити ся, посадила коло огнища бачучи, що вона трясеть ся як риба. Припадають усі коло неї, розпитують, що їй сталося — ані слова з неї не видобудеш. От тобі й на! Маємо сьвіжий клопіт. Одні кажуть, що то з перестрашу, другі, що може тікаючи вдарила ся де в голову, інші знов щось иньше говорять. Лише пан Броніслав мовчить, держить ся якось осторінь. Я зараз завважила се, пригадала собі, що в нашім переполоху, коли Юльця впала була в ярк, Броніслав кинув ся за нею. Зараз у моїй голові блиснув здогад, що воно щось вязеть ся одно з одним, але що я маю доходити кождій колоді кінця? Мовчу.

Незабаром почали до нашого огнища громидити ся втікачі й з иньших компаній, що так само позабігали в ліс, та більшу часть ночі тулили ся по корчах, під деревами та в яругах. Одні пообдирали на собі одержу, у иньших пообдряпувані руки, лиця, попідбивані очи, а всі померзли, трясуть ся, кленуть різунів, кленуть тих, що дали вість про них, кленуть свою власну боязливість. Та хоч і як усі кляли або сьміяли ся, а все таки ніхто не важив ся по-ночі йти з ліса та шукати дороги

до дому. Ану-ж та вість про різунів так правдива? Та даремно всі напружували слух; від Кальварії не доходили тепер ніякі крики, не видно було луни пожежі, все було тихо, мов вимерло.

Аж над раном до нас прийшов один ксьондз із костела. Суперіор розіслав ксьондзів, клериків, усіх кого мав під рукою геть в околицю, по лісах та полях відшукувати переполошених паломників, успокоювати їх. Се вчора був легкокомсний, сліпий алярм, хоч не зовсім безпідставний. Зайшло непорозуміння. Справді на Кальварію йде велика громада різунів, тих селян-Мазурів із Тарнівського округу, що в лютім обагрили свої руки кровю, опоганили рабунками. Іде їх мало не пять сот. Але вони йдуть не різати, не рабувати, а молити ся, сповідати ся, доступити розгрішення, якого їм не хоче дати місцеве духовенство. Коли вони показали ся в селі найблизшим до Кальварії вчора вечером, зараз тутешні селяни почувши, хто вони такі, дали знати деяким із чужо-сільних богомольців, а ті не порозумівши, що се за різуні, побігли до Кальварії і переполошили весь народ. Тимчасом різуні таки там заночували, не доходячи до Кальварії, а ксьондзи, бачучи переполох народу, зараз у ночі післали гонців до Добромиля і до иньших сусідніх місточок, просячи для безпеки народу прислати відділ кінних лядсдрагонів. Цоки не

прибудуть ландсдраґони, Мазурам заказано рустати ся з місця, де ночують. Усіх богомольців просять вертати на свої кватири. Небезпеки нема ніякої. А задля несподіваної вчорашної пригоди та заколоту, якого наробили вони, сьогоднішнє набоженство почне ся троха пізнійше, аби всі могли добре приготувити ся і успокоїти ся перед тим.

Так вияснила ся справа з різунами, і ми всі, погасивши огонь у лісі, весело та гамірно пішли на свою кватиру. Тільки наша Юльця все ще не приходила до себе, хоч огрівши ся перестала трясти ся й її лице знов відзискало свою краску, хоч і не вповні.

Сонце тільки що зачинало сходити, коли ми вийшли з ліса. Долини були заповнені млоу, а верхи гір вирізували ся з неї мов острови. Кальварийський костел увесь горів у рожевім світлі, а його вікна сипали золотисте промінє, мов довгі золоті нитки, що ділями вязанками вибігали з шибок і губили ся десь у безмежному, блакитному просторі. Віяло раннім холодом, відкись несло димом. У низу захована в млі ревла худоба, яку гонили на пашу. Ми йшли хрестячи ся та шепчучи молитви. Юльцю вели дві жінки по під руки.

— Пане Броніславе, — мовила я шептом, наблизившись до нього, — ви не знаєте, що їй стало ся?

Він глянув на мене силкуючись удавати, що не розуміє нічого.

— Ну, ну, не вдавайте новонародженій дитини, — мовила я. — Адже я бачила, як Юльця тікаючи впала, а ви скочили за нею в ярок.

— Привиділось вам, панно Маню! — мовив він усміхаючись. — У ніякий ярок я не скавав, панни Юльці зовсім не бачив, аж коли ми опинили ся при огнищі.

— Ов, — подумала я, — щось воно дуже погано, небоже, коли ти аж так з далека починаєш вибріхувати ся! Бідна наша Юлька!

Прийшли ми на квартиру, повмивали ся, попередягали ся, позашивали де в кого що пообдирало ся в ночі по хащах, поснідали, аж чуємо — дзвонять. Се вже скликають богомольців на набоженство. Зараз ми всі рушили. Виходимо на гостинець, а там знов біготня, крик, народ тисне ся, та не в напрямі до костела, а в противнім. Позаповнювали придорожні рови, дехто драпає ся на дерева, а скривь лунає гомін:

— Різуні! Різуні! Різуні йдуть!

Учорашнього переполоху ані сліду. Всі цікаві побачити тих різунів, але не боять ся їх. Ось проїхали гостинцем два ляндратони на сивих конях, у блискучих шоломах, з карабінами за плечима. Народ заметушив ся. Аж ось показала ся в низу на шляху хмара

журяви. Чути якийсь глухий гомін, мов стогнанє якогось велетня — ближше — ближше — і ось передні могли розпізнати першу лаву людей, що йшли гостинцем співаючи та зітхаючи. Се були Мазурі-різуні. Коли наблизили ся, всі прочани розступили ся, позіскакували з гостинця в рови, зробили їм дорогу, і вони пішли відси аж до самого костела поміж двома лавами цікавих глядачів. Ішли купою, стиснені, понуривши голови. В своїх брудних полотнянках, насунених на очи маґерках вони виглядали як величезний шмат сірої, мало родючої землі, що зірвавши ся з місця валить ся кудись у безодню. Їх лица були також землянистої барви, непривітні; на деяких повиписували вже свої знаки голод і нужда. Анї одного усьміху, анї привитаня, анї поздоровленя. Коли порівняли ся з першими рядами богомольців, то їх гурт зупинив ся на хвилю, а потім усі вони одним голосом затагли плачливу пісню:

Przed oczy twojè, Panie,
Winy nasze składamy;
A karanie, które za nie odbieramy,
Wyrównywuamy.

Нам ударило морозом по душі, коли ми почули ті голоси, — ті самі голоси, що ще перед пів роком ревли: „Bij! Rznij! Młóć!“
От як швидко прикрутила їх божа рука! Люди не карали їх за їх учинки, уряд ще й нагороджував їх, а про те ось що в них тепер! Ішли

всі як осуджені, як викляті. Коли наблизились до костела, суперіор вийшов напроти них у орнаті з хрестом і промовив :

— Люди! Цілуйте хрест, клякайте на землю і моліть ся тут, перед костелом, а до костела я вас не пущу!

Вони кинули ся цілувати хрест, поклякали на землю, та все лише благають :

— Припустіть нас до сповіди! Нікого з нас до великодної сповіди не допустили! Хочемо сповідати ся!

— Добре, — мовив єсьондз суперіор, — будуть вам сповідники, але аж завтра. Сьогодні велике сьвято, всі сьвященники заняті. Підождіть до завтра.

Так вони й стояли на колінах або лежали крижом на землі весь час, поки правила ся сума. Хоч який був величезний стиск богомольців, але до різунів не доторкав ся ніхто, їх обминав людський стиск, так як розлита вода обминає високий горб.

Сума править ся. Органи грають. Поміж народом, що тиснеть ся не лише в костелі, але геть скрізь довкола, протовплюють ся клерики з пушками, брязкаючи накиданими в них грішми. Гроший кидають люди таку силу, що що кільканацять кроків пушки наповнюють ся, їх відносять у закритію і висипають із них накидане до великих кадок. Але до Мазурів ніхто з пушкою не наближаєть ся: суперіор

заказав не приймати від них ніякого датку, ніякої жертви.

Наша компанія звільна протискає ся до костела; при боковім віттарі на право мав ксьондз Капуцин правити мшу на нашу інтенцію і запричащати нас усіх. Тревало то зо дві години, поки ми крізь те море людських тїл дотисли ся на своє місце і повитискали звідси інших, що вже вислухали свого набоженства і запричащали ся. Компанія за компанією йшла по черзі, і ось уже прийшла черга на нас.

Стали ми в боковій наві костела, ждемо. Ксьондз Капуцин іще в сповідальниці, кінчить сповідати. Скінчив, перекрестив пенітента, стукнув тричі до кратки, встав і йде до закриттії. А в тім із середини нашої компанії чути про-раазливий крик:

— Хочу до ксьондза! Хочу до ксьондза!

Всі озирнули ся. Що таке? Ах, се Юлька! Вона, що доси йшла, порушувала ся мов непритомна, і не говорила нічого, тепер нараз відзискала мову. Кричить і тисне ся до закриттії.

— Що тобі, Юльцю? Чого тобі? Як тобі? — розпитують її зо всіх боків, але вона байдуже, кричить усе своє:

— Хочу до ксьондза! Хочу до ксьондза!

Пустили її. Пішла до закриттії. Я зирнула на пана Броніслава, бачу: поблід панич,

скулив ся, очи вступив у землю, рад би, бачить ся, залізти в мишачу діру, та ба, годі!

Ждемо ми, ждемо, аж ось відчиняють ся двері закристії, ксьондз Капуцин висуває голову, кличе пана Вінцентого, паню Гжехотову, кличе пана Броніслава і нарешті мене. Входимо, а наша Юльця клячить на колінах перед вівтариком, заплакана, хлипає і обтирає очи хусткою.

— Пана Броніславе, — обертає ся ксьондз Капуцин до нього, — тут отся панна призналась мені, що вчора в ночі, користуючись із загального переполоху, в лісі ви знасилували її. Правда се?

— Ні, — відповів сьміло пан Броніслав. — Я не бачив її в лісі й ні про яке насильство не знаю. Вона була зомліла... вона хора... сама не знає, що говорить.

— Хлопче, не бреш! — крикнув остро ксьондз Капуцин. — Хочеш, я зараз покличу лікаря, і коли покаже ся, що панна каже правду, то я віддам справу до кримінального суду.

— А Маня посвідчить, що коли я втікаючи впала в ярк, пан Броніслав скочив за мною, захопив мене на руки і замісь винести на дорогу, заніс далі в хащі.

Ми аж здивували ся. Се все промовила наша Юльця зовсім ясно та розумно, мов би ніколи й не була непритомною.

Пан Броніслав пробував усміхнути ся. Не звертаючи уваги на Юльцині слова він обернув ся до ксьондза Капуцина:

— Я не маю нічого против того, щоб лікар оглянув сю панну. Але коли у неї що не тес, то се ще не доказ, що я се зробив. Я ні про що не знаю.

Тут ксьондз Капуцин розсердив ся.

— Блазню! — крикнув і захопивши пана Броніслава за вухо поволік його перед круцифікс. — Ось тут! Приклякни! (А сам усе держить парубка за вухо та гне до долу). І присягни мені на свою душу, що ти нічого не винен! Говори за мною: Присягаю Богу —

Пан Броніслав мовчав.

— Говори: Присягаю — —

Пан Броніслав ще мовчав.

— Присягай! — налягав ксьондз Капуцин, — а ні, то зараз пишу донесене до суду і віддаю тебе в руки ляндратонам. Крім злочину насилуваня будеш мати ще злочин збезчещеня сьвятого місця. А знаєш, чим то пахне? Чував про Шпільберт та про Куфштайн?

Не знаю вже, чи страх перед присягою, чи страх перед арештованем зломав Броніславову відвагу. Досить, що він таки признав ся, що пожартував з Юльцею, але зовсім не в злім намірі, бо він хотів оженити ся з нею.

— Так? — остро відповів ксьондз. — А по щож ти тепер відпирив ся? То так роблять чесні кавалери? Фе, стидай ся! Та ні! В тебе стида нема. Тебе треба як того вола брати на воловід. Зараз мені тут присягни перед отсим Розпятим і в присутности отсих свідків, що скоро лише вернеш до Львова, посватаєш сю панну. І зараз маєш дати на заповіди, і просити ксьондза пароха, щоб написав мені посвідчене про се, а як ні, то я передам сю справу криміналови. Се зневага для нашого святаго місця.

Бідний Броніслав мусів присягти. Ксьондз в додатку відмовив йому причастя, і він вирвавши ся з костела перед кінцем богослуженя зараз забрав ся до Львова. Як побачиш його де, то кланяй ся йому від мене, але борони Боже сказати, що знаєш усю отсю історію!

А до нас по богослуженю ксьондз Капуцин мав дуже красну науку, і за те, що в нашій компанії стала ся така немила пригода та зневага святаго місця, велів нам з поворотом іти до Самбора і там поклонити ся чудотворній Матери Новосамбірській, а потому наймати

службу в кожній церкві, яку здиблемо по дорозі, і наймивши службу вислухати її самим, і йти пішки аж до самого Львова. Отсеж ми й вертаємо, та вертаючи стали на нічліг у Фульштині. А завтра будемо в Самборі, де думавмо забавити цілу добу.

І подумай собі, що за хитра бестія та Юлька! Доки ми не вийшли з Кальварії, вона весь час плакала, ні до кого ані слова не говорила, — ну, по просту, дівчина як зарізана ходила. А як прийшли до Фульштина та розташували ся на ніч і я взялась потішати її, а вона як не зареочеть ся, як не кинеть ся мені на шию та давай мене цілувати!

— А що! — каже. — Мудро я спіймала того вітрогона? Не бій ся, я все обміркувала! Я знала дуже добре, що роблю. А він падлюка! Чи бач, відпирати ся почав! Але я йому задам! Я його тепер маю в руках. Буде він у мене тонко свистати!

Ну, чи подумав би хто, щоб така сьвята та божя та мала такий жидівський розум! Я ще не стямила ся гаразд, а вона знов мене стискає та цілує...

— І тобі дякую, Манюсю! — мовить до мене. — Я знаю, ти хотіла мені наробити скандалу, а що найменше завязати мені сьвіт з непотрібом. Але маю в Бозі надію, що твої лихі думки вийдуть мені на добро. А тим-

часом спасибі тобі! Як будемо справляти весіле, запрошу тебе на першу дружку. Не відмовиш, Манюсю, правда?

Ну, прошу дивити ся на таку гадину! Хто би то по ній подумав!

Ну, досить! Маш цілу історію, тільки прошу тебе, не говори сього нікому. Головно задля поваги сьвятого місця. Як би так наші старі довідали ся, як воно все діялось, то готові би не дозволити паннам ходити на ті відпусти. Правда, і се не багато помогло би, бо як казав старий дяк від сьвятих Пятниць, коли між панною й кавалером появить ся по-ползнованіє, то не відкратиш його ніякою сьвяченою водою.

Бувай здорова! Цілую тебе

твоя

Маня.



ГРЪЦЪ І ПАЖУЧ.





I.

Було се зимою, незадовго перед пуцанем памятного 1846-го року.

Невелике гірське село Ступосян розкинуло ся широко по крутій долині, перерізаний гірським потоком, що тепер скований грубою ледяною корою та присипаний снігом тільки де-де глухо булькотів з під леду і на кінці села вливав ся до так само замороженого Сяну. Маленькі хати чорніли ся купками на білому сніговому тлі, сполучені одні з одними хіба вузькими в снігу протоптаними стежками. Величезними, важкими шапками зима сиділа на стріхах, ледовими сомплями звисала з окапів, купами білого пуху гніздила ся між гіляками верб, густо вкривала вбогі поля по збочах, придавлювала своєю вагою чорні смереківі ліси по довколичних горах. Тісно й важко робило ся чоловікови, коли бачив себе таким

дрібненьким, слабим та відрізаним від решти світа серед тих величезних гірських валів, серед тої маси снігу, а до того ще обгородженим з усіх боків тим чорним, могучим частоколом, що ночами від вітру стогнав немов велитень конаючи в страшних муках, що в мороз тріщав та стріляв мов ворожий табор, а в бурю ревів, свистів та вив, засипаючи безмірними туманами снігу маленьке, вбоге село там у долині над потоком.

Серед села на горбку стояв панський двір, деревляний, з ганком, чисто вибілений і обведений високим парканом. В тім дворі жив дідич села, пан Пшестшельський, старий вдовець з сином одинаком Нікодимом, парубком 28 літ, що скінчивши в Перемишлі гімназію від десятиох літ покинув школу і жив при батькови помагаючи йому завідувати господарством, а властиво проводячи найбільше часу на польованю і поїздках по дальших і ближніх сусідах, свояках і знайомих. Пан дідич Пшестшельський, 70-літній, крепко збудований і здоровий шляхтич старої дати провадив господарство сам і навіть не позволяв синові надто багато втручати ся до нього, так що сей мав багато вільного часу і міг займатися „політикою“. Ще в гімназії він горячо переняв ся був ліберальними, демократичними польськими ідеями, що ширив у Перемишлі кружок Дмитрасиновича, а покинувши школу не переставав

цікавити ся пропагандою, кілька разів гостив у себе революційних емісаріїв, що ходили по краю, що року їздив на пару неділь до Львова, щоби погуляти на балях і розвідати, як стоїть справа відбудованя вітчизни, і в остатніх часах пробував навіть сам пропагувати ті думки не тільки серед околичної шляхти, але також між селянським парубоцтвом батьківського села.

Старий пан дуже нерад був тій синовій політиці — раз тому, що вона дещо троха коштувала, а по друге тому, що була небезпечна. Гостини польських емісаріїв у його домі наробили йому багато неприємности, хоч власти й не знали про все, що було на правду. Комісар Курцвайль, заваятий ворог шляхти, кілька разів нагрожував ся арештувати його сина, скоро тільки щось найменше покаже ся на нього. А найгірше те, що сам батько вважав синові погляди хибними, для шляхти небезпечними, згубними, комуністичними. Між батьком і сином бували часті суперечки, особливо від того часу, коли Нікодим почав збирати сільських парубків і голосити їм свою науку. Батько сердив ся, вговорював сина, вияснював йому, що він підкладає підпал під власну хату, та син не слухав, а ще жадав від батька, щоб сей поводив ся з селянами лагідно, скасував буки, зменшував данини, — мало що не жадав цілковитого дарованя панщини.

— Здурів хлопець! Чисто здурів — повторяв заклопотаний батько. — Одинокий спосіб — оженити його з якою енергічною та господарною шляхтянкою, яка би порядно взяла його в руки.

Та такої пари для його Димця на разі не було видно, а „політика“ не давала самому панчеви думати про женитьбу.

Отсе власне старий пан, ходячи по покою, думав про те, що йому почати з сином, і перебирав у голові всіх знайомих панночок. Надійшли м'ясниці, сама пора для весілля. Господарство в остатніх роках ішло слабо. Від часу бунту, що вибух був у селі в 1841 році, селяни роблять панщину нерадо, ціни на збіжжя нема, за деревом ніхто й не питає, а тимчасом податки плати. В селі був голод і треба було майже половину господарів ратувати на переднівку. Дуже придалась би гарна невісточка з гарним віном. І дім оживила-б, і фінанси поправила-б. А то що: і живемо ми оба скромно, ні на які видатки собі не дозволяємо, і господарства, здасть ся, пильнуємо, а тимчасом усе йде як з каменя, довжок у сянїцьких Жидів росте тай росте і нема надії вилабудати ся з нього.

Пан Пшестшельський був у хмарнім настрою. Поснідавши рано і обійшовши господарство та розділивши панщизняну роботу (до покою доносив ся з гумна густий стук ціпів,

мов далекий компанійний карабіновий огонь) він вернув до покою і дожидав другого сніданя. В животі троха млоїло, а до того небо було хмарне та непривітне, всі дороги і стежки завалені снігом, — чуте голоду, самоти та одинокости придавлювало душу.

— Де панич? — запитав пан Пшестшельський підхиляючи з покою двері до сінній і направляючи своє питанє до супротивної отвореної кухні, де кухарка при помочи двох служниць порала ся коло печи.

— Десь тут недавно були, — відізвала ся одна служниця.

— Певно пішли до Тимкового, Гриця кликати, — додала друга.

— По що йому Гриця?

— Та видно хочуть десь їхати по обіді. Рано веліли фірманови зладити залубеньки.

Пан запер двері і знов пустив ся ходити по покою.

— І куди він хоче їхати по такій заметі? А тут не нині то завтра жди нової сніговійниці. Чую се добре, — ревматизм так і ходить по костях. Я певнісінський, що він до Сянока збираєть ся. Ну, та зрештою нехай їде. Може там збереть ся яке товариство, піде забава, панни будуть... ану-ж може котра й причарує його.

В тій хвилі надійшов панич. Се був так само високий і статний мужчина, як і його

батько, осмалений вітром, синьоокий, з довгими, по уланськи закрученими вусами. Подовгасте, сильно костисте лице свідчило про енергічну вдачу і сильну волю, а синні очі надавали сему лицу виразу якоїсь ідейности і замилюваня до мрій та фантазій. Він був убраний по господарськи але чисто, в „польських“ чоботях з високими, густо поморщеними холявами, в штанах із грубого, сірого сукна, в короткім висше колїн козушку без ковніра. Боброву шапку з кляпами на вуха зняв при вході до покою, а потім поклав на комоді.

— Добрий день татови! — промовив мягким та звучним голосом.

— Добрий день! Ну, що? Де бував?

— Ходив до ліса, чи нема свіжого вовчого сліду.

— Нема?

— Ні. Після вчорашнього нема.

Нікодим скинув козушок і передяг ся в чемерку, свій звичайний стрій.

— Збираєш ся їхати кудись? — запитав батько.

— Та мушу. Вчора лист прийшов із Сяюка.

— О! — здивував ся батько. — А ти й не сказав мені нічого. Від кого лист?

— Та не говорив, бо то не татків интерес. Граф К. пише мені — коротко, пару слів: Прибувай, важні вісти.

— Агі! Граф К.! Та не знати котрий, бо їх два є. Чи старий, чи молодий?

— Молодий.

— Ти з ним знайомий?

— Доси ні.

— Ну, і не догадуєш ся, чого тебе потребує?

— Догадую ся. Лист запечатаний не його печаткою, а нашою, меч і коса навхрест, а на полях чотири букви: J. P. N. Z.

— J. P. N. Z. — а се що значить?

— Jeszcze Polska nie zginęła.

— Там до дідька! — буркнув старий пан.

— Що, не подобаєть ся тобі? — якось приєро запитав син. — Я думав, що се повинно тішити тебе.

— Як може мене тішити дурниця? Будьте собі патріотами, вірте всею душею, що Польща не пропала, працюйте про мене над її відбудованєм, але по що вивішувати свій патріотизм на печатках, викрикати його з дахів, вибубнювати на вулицях? А надто ще коли знаєте, що уряд дразнить ся такими дурницями як бие червоним. Коли хочете справді зробити щось, то такі значки сто раз швидше пошкодять вам, ніж допоможуть.

— Ну, не можна так говорити, — боронив ся Нікодим. — Люди людьми, таточку, а Поляки Поляками. Їм не досить патріотизму в глибині серця, їм треба патріотичної одежі,

кокард, печаток, фан і відзнак. Такі річи тягнуть до себе навіть таких людей, що в серці не багато мають дійсного патріотизму.

— О, певно, — мовив батько. — Се певно вони притягнули й того графика К. — марнотратника, неробу та гуляку. Даруй, мій сину, але справі, котрою кермує сей панич, я не можу вірити. Бувши на твоїм місці я зараз би відкараскав ся від неї.

— І мені се не дуже подобаєть ся, що він має в руках нашу печатку. В окружнім комітеті засідає купа паничів, котрі вже від давна балакали про те, що треба когось для „фірми“. Здаєть ся, що вони втягнули його. Ну, та я поїду, розвідаю; що там вони роблять і яке у них діло до мене.

Льокай покликав панів до сніданя. В часі сніданя, в присутности льокая, розмова перервала ся; тільки десь колись пани перекидали ся французькими фразами, хоч оба в французькій мові були не тверді і ширшої конверсації сею мовою не могли провадити.

По сніданю батько почав збирати ся до виходу, щоб оглянути господарство.

— Коли їдеш? — запитав він сина.

— Думаю сьогодні по обіді. У Косціцких у Д. підночую, а завтра буду в Сяноці.

— А довго там забавиш?

— Не знаю, як випадє. Може там яка забава склеїть ся. В усякім разі надіюсь вернути в суботу.

— А кого береш із собою?

— Гриць поїде.

Батько вже був готов до виходу, з шапкою на голові. Згадка про Гриця вдарила його якось непрямно.

— Не розумію, Димцю, — мовив він хмуриючи брови, — чого ти волочиш того Гриця з собою. Адже можеш узяти котрого будь слугу.

— Коли бо вони всі такі тумани! Анї один не вмє з кіньми поводити ся як слїд. Нї в чїм не спустиш ся на нього. А Гриць — знаєте самі, який він до всього проворний і який вірний менї.

— Але менї то дуже непрямно, Димцю, дуже непрямно!

Нїкодим, зайнятий пакованєм подорожної валізи, підняв голову і видивив ся на батька.

— А то чому?

— Я хотїв про се поговорити з тобою, та на се треба би вільнійшої години.

— Ну, що-ж, говорїть!

Старий опер ся на палиці, не сїдаючи, а син стояв на почіпках коло валізи.

— Нї, буде ще час, — мовив старий короткім ваганю. — Приїдеш із Сянока, то поговоримо ширше. А тепер одно тільки скажу

з бурливих лїт.

4

тобі: будь обережний із тим Грицем і з тими парубками — там — знаєш? — і з усім хлопством. Будь обережний! Щось там варить ся і кипить між ними. Чую, що пахне чимось недобрим. Ніби то вони гнуть ся і хилять ся і не грозять, а про те в очах і в голосі і в рухах видно щось таке, як було в 1841 році, памятаєш, перед бунтом!

Рік 1841 був памятною хвилиною в життю пана Пшестшельського і його дідичного села. В тім році був у селі бунт, котрий треба було втихомирювати аж військовою езекуцією. Пан Пшестшельський і доси не може без злости згадувати про сей проклятий рік і його погані наслідки.

Між громадою і двором ішла здавна суперечка за якісь толоки, за пустки, що були первісно рустікальні, а потім, ще за попереднього пана, були прилучені до двірського ґрунту, в кінці за різні кривди, на які жалували ся піддані. Ся суперечка довго ходила по судах, піддержувана головно кількома заможнішими, письменними селянами, між котрими визначував ся Гнат Тимків, сільський плєніпотент, чоловік бувалий і досить добре обізнаний з правними приписами. Він довгі літа докучав панови ріжними процесами і деякі справді повигравав. Роздобувши в Сяноці якимсь способом відпис старих Йосифінських інвентарів, де були списані всі громадські ґрунти,

повинности і данини, він в 1841 році счинив правдивий розрух у громаді і зажадав від пана звороту всіх загарбаних від того часу ґрунтів і відшкодованя за збільшені данини і надроблену панщину. Переляканий пан покликав військо; бунт успокоено різками і військовим постоєм, що пробувши в селі дві неділі вичерпав усі засоби не тільки у селян, але і в дворі. Тимкового арештовано і в кайданах відвезено до Сянока. Коли виїздив із села, купа його прихильників кинула ся, щоб відбити його. Прийшло до бійки між селянами і двірськими посіпаками. В тій бійці найгорячішому з тих посіпак, двірському злісному Оншкові Кострубови поломано обі ноги.

В селі настав спокій. Від Тимкового відібрано інвентар, котрого по закону йому не вільно було мати, тай його самого не стало в селі. Та на пана по тій езекуції впали нові обовязки — запомагати цілу зиму обдертих із усяких засобів селян, платити шпиталь за Коструба, а надто опікувати ся сином Кострубовим Осипом і сином Тимковим Грицем. Хоча у обох хлопців були матері, то про те пан узяв їх обох до двора. Кострубиха була халупниця і справді не мала при чім держати парубка дома і була-б мусіла віддати його в службу, а Тимкового Гриця пан узяв на просьбу свого сина, даючи натомісь Гнатисі наймита для веденя господарства.

Осипови було в ту пору 18, а Грицеви 13 літ. Осип був крепкий, рослий парубіка, незвичайно сильний, відважний і завзятий, але мовчазливий, скритої вдачі. Натомість Гриць, мамин пестій, був хлопець незвичайної вроди, кров з молоком, з золото-жовтим волосем, що блискучими кучерями вилося по його голові і спадало аж на плечі, з синіми, лагідними очима, щирий, отвертий і добрий, видно, вихований в достатку і свободі. Батько змалеку навчив його читати і писати і багато оповідав йому про те, що бачив і чув по світі, а Гриць, маючи незвичайно добру пам'ять і бистре око, засвоював собі все, що чув, придивлявся до всього, що бачив, одним словом, був появою наскрізь незвичайною серед мало розвитих, прітупих, заляканих та брудних сільських дітей. Його не любили ровесники, дразнили паничем, за те панич Нікодим дуже вподобав його і поти налягав на батька і на стару Гнатиху, поки його не взято до двора на службу. Панич відразу взяв його собі і не стільки вживав до послуги, скільки розмовляв з цікавим хлопцем, волочився з ним по лісах і потоках, їздив по сусідах і до Сянока, брав навіть раз до Львова з собою, одним словом, зробив його своїм невідступним товаришем.

Гриць був вдячний паничеві. Він користав і з його розмов і з поїздок, а за його добрість відплачувався йому такою вірною

і старанною службою, що панич не міг його нахвалити ся. І коло коний він умів ходити добре, і стрілець з нього був незрівняний і на ловлене пстругів у потоці знав тисячні способи, і по лісах та дебрах знав стежки, — одним словом, усюди Гриць умів бути паничеви пожиточним і служним.

Зовсім инакше вів себе Осип. Хоча батько його був найщиріший двірський слуга, чи то, як говорили в селі, найвірнійший панський собака, у Осипа від малку була зовсім иньша вдача. Не знати, чи від матери, що була з роду шляхтянка і вийшовши заміж за підданого мусіла робити панщину і через те проклинала свій вік, чи від сільських дітей, що повторяючи слова своїх батьків ганьбили і проклинали його батька, досить, що Осип набрав ся глухої ненависти до пана, до двора і всіх двораків. Служба в дворі була мукою для нього самого і для всіх, що мали з ним діло. Упертий, непокірний і завзятий він не раз робив иншим на збитки всякі пакости, псував те, що зробили иньші, навіть осьмілював ся бурчати на пана, відгрозувати ся паничеви, а Гриця де міг заскочити, ганьбив і навіть частував буханцями. Дійшло до того, що раз Осип зайшов через се в сварку з паничем. Панич ударив Осипа в лице, сей віддав йому ще з підсипкою. Счинив ся крик, Осипа побили жорстоко, заперли через ніч до шпіхліра, а на другий день відвезли до

Сянока і віддали в рекрути. Гриць щиро плакав, чуючи й себе по троха винуватим у тому нещастю, та Осип в понурій мовчанці, без жалю попрощався з рідним селом.

Се було перед трьома роками. Того самого року вийшов Тимків із в'язниці, а Коструб із шпиталю. Тимків постарівся передчасно, ослаб, зігнувся; Коструб кепсько вилічений лишився до віку калікою. Тільки тепер він довідався, яка доля спіткала його сина, та панський дворак приглушив батьківське чуť.

— Добре йому так! Нехай знає, драбуга, як шанувати панів. Не бійся, стара, не пропаде він там. Буде добрий, то буде й йому добре, а буде злий — го-го! там із нього швидко злість виженуть, хоч би мали при тім і душу вигнати з тіла.

Не дуже потішила бідну матір така промова, та що мала робити! Поплакала і перестала; треба було працювати і на себе і на каліку-чоловіка, і ще й відбувати що місяця чотири дні панщини. Що правда, пан запомагав свого вірного слугу і хлібом і стравою і збіжем, так що нужди вони не терпіли, але робити треба було. Коструб не можучи ходити, цілими днями сидів у хаті, плів коші, сїти, рукавиці і тим хоч що-то заробляв на хліб. Жінка зимою прала, а літом ходила на полів роботи, найчастійше до пана за гроші і страву.

І в Грицевім житю настала переміна. Батько вернув із криміналу зломаний, знеохочений, а чуючи, як по людськи обійшов ся пан з його жінкою і як добре було синовн в дворі, перепросив ся з паном. Він учинив се не так може з щирої прихильности до пана, як для того, щоби по добру видобути з двірської служби свого любого Гриця. Хоч як нерадо, панич згодив ся пустити Гриця до батьківського дому. Та про те він дуже часто брав з собою Гриця чи то йдучи в ліс, на рибу, чи їдучи десь у сусідство, а далі почав його кликати ще частійше, вечерами, на розмови, в котрих силкував ся викладати парубкам свої патріотичні ідеї. Гриць був більше підготований до сеї пропаганди від иньших парубків, проймав ся нею горячійше і часто помагав паничеви, викладаючи його слова на мову більше зрозумілу парубкам. Та анї Гриців, анї паничів батько не були раді тій роботі. Старий Тимків був нерад, що панич надто вже часто забирає йому Гриця від роботи, а старий пан гримав на сина за його „комуністичну“ пропатанду. Правда, старий Тимків по троха рад був, що панич так любить його сина і не противив ся, коли панич брав Гриця з панщини — краще-ж хлопцеви гуляти та їздити, ніж потіти коло ціпа; але коли Гриць почав розповідати йому, про що балакає панич з ним і з парубками, старий почав дуже хитати головою.

— Синку, бій ся Бога, вважай! Держи ся на острозі! — остерігав він. — Се чимсь недобрим пахне.

Гриць не міг зрозуміти, чим недобрим можуть пахнути обіцянки скасованя податків, ревізорів, а навіть самої панщини.

— Гляди, щоб поза тими обіцянками не було якого польського повстаня! — говорив старий пленіпотент. — Пани люблять так: завабити хлопа на красні слова і потому пхнути його в огонь: іди, бий ся, проливай кров за нас, аби ми могли панувати!

Гриць задумав ся. Справді, се може бути. І він постановив собі по щирости розпитати панича, до чого воно йде.

Так настала зима 1845 р. Не довго перед Різдом счинив ся рух. Із Сянока прибули урльоппики. Несподівано для нікого їх пустили з війська на сьвята і то не на кілька день, а „до заволяня“, як говорили тоді. Се була незвичайна ласка. Село оживило ся, загомоніло: прибуло десять найкращих хлопців, між ними й Осип. Усі вони мали багато чого повідати про своє військове жите, про те, що бачили і чули. В селі повіяло якимсь сьвіжішим духом і старому панови здавало ся, що люди так як перед бунтом почали гордїйше підіймати голови.

— Так що-ж, думають татко, що знов щось таке починаєть ся, як тоді? — запитав Нікодим.

— Нічого ще не думаю, бо нічого певного не знаю. Але мені здаєть ся, що той старий кримінальний Тимків знов щось рие між людьми. Дуже йому гребінь відріс через те, що ти з його сином панькаєш ся.

— Се вам так здаєть ся! — з легковаженем промовив Нікодим. — Я нічого подібного не бачив.

— Е, що ти розумієш! Ти нічого й не побачиш, бо тебе твої комуністичні ідеї засліпили. Ти будеш панькати ся з ними, поки вони не прийдуть з ціпами і косами і не вб'ють тебе.

— Ну, що татко видумують! Чи то годить ся таке видумувати! — скрикнув Нікодим.

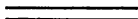
— Добре, добре, — мовив старий. — Тільки я наперед кажу тобі, скоро щось такого довідаю ся, що в селі якісь бунти, якісь непокірні розмови йдуть, то не буду чекати на військо. Кого зловлю, велю так випарити, щоб йому відхотіло ся язиком молоти.

— Ей, татку! Бійте ся Бога! Не надто ви з тим паренем розмахуйте ся! Уважайте, який час надходить!

— Ет, дурень ти, тай тільки всього! — скрикнув старий і плюнув гнівно. — Тобі здаєть ся, що ти з них поробиш польських патріотів. А я тобі кажу, що се небезпечна гра!

Ліпша стара метода. Хлоп має слухати, а не міркувати, не резонувати. Хлоп до цїпа, до коси, не до шаблі і не до патріотизму! Се моя думка і при ній стою.

І він стукнувши палицею о поміст поквапно вийшов із покою. Нікодим тільки головою похитав і взяв ся далі пакувати свою валізу.



II.

Була субота. Вечеріло. Небо вияснило ся після кількадевної снігової заметі. Тис мороз. З невеликої сільської дзвінниці на далекім кінці села почув ся власне плачливий голос вечірнього дзвона. Село в синявім сутінку лежало, мов вимерло. Ніде не було видно ані живої душі, не чути ані одного згука. Тільки понад стріхами вив ся білявими клубками дим, піднімаючи ся просто в гору.

За те в дворі було шумно і гучно. В столі, що стояла в глибині просторого гумна, розлягав ся на тоці до такту лускіт цїпів. Кільканацять парубків кінчило власне чистити стайні. Інші носили міхами провіяне і вищияне зерно до шпїхліра. На другім тоці, де віяно і щиняно і відки котили ся густі клуби пилу, осїдаючи сїрою плахтою по снігу, чути було цокотане жінок і дівчат. Отамани та дєсятники з нагайками і костурами ходили від

одної купки робітників до другої, жартуючи, покрикуючи, втишуючи надто голосні розмови або відразу на місці завдаючи кару непослушним. Пан дідич був у шпіхлїрі і записував число принесених міхів, міру і якість висипаного в засїки зерна.

— Ну, годї вже! — крикнув він голосно крізь двері до економа. — Велїть кінчити! Вечірню дзвонять.

І він виняв із рота люльку на довгїм цибусі, зняв шапку і перехрестив ся, шепчучи „Anioł Pański“.

— Годї вже! Годї вже! — пішли з уст до уст панські слова і розрушана по всіх закутках широчезного гумна сторука панщизняна машина почала звільна, не відразу, зупиняти ся. Перші жінки покинули решета, що ними щиняли провіяне зерно, і висипали на гумно, обтріпуючись від пилу, чихаючи та регочучись. Усі вони не зупинячись посунули півперек подвіря, попри шпіхлїр, де власне стояв пан дідич з невідступною люлькою в зубах. Кожда з жінок підходила до пана, кланялась йому доторкаючись рукою аж до самого снігу і цілувала його в руку. Пан ласкаво глядїв на них, до сеї або тої забалакав кілька слів.

— Ну, Оришко, а яке там твій чоловік? здоров?

— Та все однако, прошу ясного пана. Ніби здоров, і їсти хоче, а на ноги не зведеться ані руш.

— А маєте що їсти?

— Та дякувати панській ласці маємо.

— Ну, тепер і Осипа маєте дома. Робить він що?

— Та робить, прошу ясного пана. Ходить молотити, а нині пішов з парубками в ліс, клепки рубати.

— Так? Ну, добре, добре. Тільки вважайте мені на нього! Він непокірна голова! Коли почую про нього щось найменше недобре, зараз напишу до циркулу, щоб його взяли знов до війська і не пускали більше.

— Ой, паночку, лебедьку! Та де там! Він тепер такий добрий, такий послушний! Я сама нераз не можу пізнати його. От і з тим Грицем Тимковим, як уперед не любили ся, а тепер Осип сам пішов до нього, перепросив ся з ним.

— Так? Ну, то дуже мене се тішить. Видиш, як ти мене проклинала тоді, як я віддав його до війська, а тепер сама бачиш, що се вийшло йому на добро. Що було би з нього тут у селі? Шибеник, дармоїд, кримінальник. А тепер може з нього вийти порядний чоловік.

— Та дай Боже ясному панови здоровля!— кланяючи ся мовила Кострубіха, не знаючи що иньшого сказати на сю моральну пропо-

відь. А коли пан не говорив нічого більше, вона поцілувала його в руку і пішла.

Майже рівночасно з жінками перестали стукати й молотники. Та вони не виходили ще зараз. Треба було повітрясати приколотки, поскладати їх на купу, попідмітати вимолочене зерно, повиносити трину до половника. Все те робило ся якось мляво, неохоче, мовчки, немов ті люди бажали проволікти час. Не видно було ані сліду тої радості, яка звичайно являеть ся у чоловіка при закінченю тижневої роботи.

— Ану, живо один з другим! Рушайте ся! Рушайте ся! — покрикали панські доглядачі.

Ще кілька міхів чистого зерна перенесено з току до шпіхліра, звязано кілька околотів соломи, постелено в стайнях і поприпинано худобу, напоено телят, насипано свиням посліду в коритця, накладено вівцям за драбинки пахучого гірського сіна, дрібного та зеленого як барвінок, і тижнева панщина була скінчена.

— Ану до пана! На обрахунок! — загуло по подвірю.

На небі, в безмірній темній безодні почали моргати перші зорі.

Пан Пшестшельський пихкаючи люльку замкнув шпіхлр і сів на колоді, що стояла близько дверей, під навислим дахом сього невеличкого, мурованого будинка. Звільна, тяжкими кроками сходили ся робітники від цїпів, вик

та віячок, випростовуючи плечі, обтрясаючи з пилу довге, по плечех розсіпане волосє, важко зітхаючи. Два слуги принесли дубову лавку і поставили її праворуч пана. Два отамани з палицями стали коло неї, знаючи свій обовязок. Економ подав панови тижневий рапорт. Пан глянув на нього, поводив очима, а зупиняючи ся на однім місці підвів голову і грізно глянув на юрбу.

— Гнат Тимків!

Старий пленіпотент поклонив ся, виступив із купи сусідів і знявши шапку підійшов ближше до пана.

— Гнате! — мовив пан, — що се має значити?

І він тикнув пальцем у розложений перед ним рапорт.

— Ти знаєш, що тут записано?

— Ні, прошу пана.

— А що ти говорив економови?

— Що говорив? Усяке говорив. Що він мене питав, я йому відповідав.

— Чи лиш те? А тут записано, що ти відгрожував ся на панів.

— Я не відгрожував ся, — спокійно, але рішучо промовив Тимків.

— Добре! От економ тут стоїть живий. Пане Домагальскі, що говорив Гнат до вас?

Економ виступив наперед, випростував ся і мовив:

— То так було. Підходжу я до молотників, та чую здалека, що ціпи не бухають, а веде ся голосна розмова.

— Приколотки перетрясали, — втрутив Гнат.

— Став я за углом і слухаю. Аж чую, Гнат говорить. „А я гадаю, що то не добром пахне, що пани знов якесь повстане задумують. Занадто добре їм дієть ся, за мало їх Москаль бив“. Був би ще далі говорив, але котрийсь побачив мою тїнь ізза угла і в тій хвилі розмова затихла.

— Чи то правда, Гнате? — запитав пан.

— Правда.

— Як ти сьмієш таке говорити?

— Бо так є.

— Так є? Відки ти знаєш, що так є? Як сьмієш говорити, що пани задумують повстане?

— А хиба не задумують? А хиба ваш панич від самої осени не намовляє наших парубків до повстаня? Таже ми, пане, не сліпі і не глухі, знаємо, що до чого йде.

Пан поблід як стїна при тих словах. Його руки дрожали, губи рушали ся, мов говорили щось, але з горла не йшов голос. Осьмілені тим люди і собі-ж обізваля ся.

— Що правда, то правда! Ми то всі знаємо. Нам діти говорять.

Та пан уже перемиг своє зворушене і зір-
вав ся з місця.

— Мовчіть! Усе те неправда! Панич з ва-
шими синами добрий, учить їх бути чесними
і послушними, а ви дурні от що з сього зро-
били. Ви самі бунтівники! Пахне вам крими-
нал, бо там їсти дають, а робити не велять.
Ей люди!

Гнат затремтів при сих словах.

— Пане, — промовив, — коли нас попрі-
каєте кримінальським хлібом, то дай Боже
й вам закоштувати його!

— Хлопе! — ревнув пан і вся накиншла
злість прорвала ся на верх у його душі. — Ти
мені сьмієш таке говорити? Гей, гайдуки! На
лавку його!

Гнат випростував ся.

— Пане, — промовив спокійно, — ви не
будете мене бити.

— Цевно не буду. Я маю таких, що се
зроблять за мене.

— Пане! Памятайте, пожалуйте того!

— Ти ще грозисш мені? Кладіть його!

Гайдуки приступили до Гната і взяли його
за руки. Між людьми счинив ся гомін.

— Пане! Не маєте права! За що його
карати? Що він злого зробив?

— Що? Ви бунтуєте? Забули вже не-
давнє? Гей там! Запріть браму! Всім по двай-

цять п'ять, а сему старому бунтівникови кілька влізе.

Та люди не перелякалися. В них очевидно кипіло. Їх було стільки, що кинувшися нагло могли ногами потоптати і пана і всю його дворню. Пан очевидно й сам бачив се, та злість засліпила його. Гайдуки стояли коло Гната і не знали, що робити.

— Беріть його! Кладіть! — кричав пан.

— Геть від нього! Пане, опам'ятайтеся! Досить того збиткованя! — гомоніли люди. — Досить, бо буде лихо!

Гнат бачив, що у його сусідів зачинали в очах грати злі искри, що кулаки стискались, а погляди звертали на купу ломача, що лежала під парканом. Ще хвиля, і могло прийти до нещастя.

— Люди добрі, — крикнув він. — Заспокойтеся! Нехай сей ворог збиткується наді мною! Будьте свідками! Я вам говорю, що вже не довго його панованя! Але ви будьте спокійні, не накликайте ще більшої біди на село!

— Заткайте йому рот! Кладіть його! — кричав пан — і серед гробової мовчанки розпочалася огидлива сцена панського самосуду над безпомічним підданним. Гната били до сходу; пан не мав охоти числити, а фукаючи і сплювуючи ходив по дворю. Вкінці, коли крик

старого перемінив ся на глухе стогнанє і крізь
полотно почала бризкати кров, він крикнув :

— Досить!

Гната підвели. Він стогнав.

— Щоб ти знав на другий раз, як гово-
рити з паном! — крикнув пан Пшестшель-
ський. — Марш усї до дому!

І ще раз плюнувши він пішов до двора.



III.

У лісі також скінчила ся робота. Лісничий дав знак трубкою, що час перестати. Звільна почали рубачі з гущавини, з ярів і дебрів стягати ся купками на „шлябант“, при котрім стояв лісничий. Він держав у руці „квітаруш“, записав кожного, кілько хто нарубав, а на другій половинці картки виписував йому квіток, віддирав його і давав рубачеві. Рубачів було кількадесять, то воно тягло ся досить довго, поки всі отримали квітки. Ті, що мали квітки, не відходили, а чекали, поки всі будуть готові. Ліс був досить далеко від села і одинцем іти, а ще й смерком — неприємно. Ліпше купою.

Упоравши рубачів, лісничий пішов до своєї лісничівки. Надзорців не було ніяких, бо се не була панщина, а платна робота. Рубачі — самі парубки, довгою, гамірливою купою рушили до села.

— Хлопці, — відізвав ся Осип обертаючи ся до всіх, — та розповідajte бо, що се у вас за вечерниці з паничем? Одного, другого питаю, та вони щось мені бовкнууть тай утікають. Ну бо, скажіть по щирости!

— Коли бо нам панич остро наказав не говорити нікому, поки час не настане на те.

— Ей хлопці! Вже з того видно, що воно щось не добром пахне!

Деякі парубки задукали ся.

— Та справді, що воно таке і до чого? Панич говорить багато і не договорює.

— Ну, що-ж він вам говорить? — допитував Осип.

— Та що говорить, — нерадо відповів один парубок. — Говорить, що нам кривда, що нас податки тиснуть, що в рекрути беруть, що сіль дорога і що всьому тому повинен бути кінець.

— А про панщину не говорить, що нас тисне?

— Про панщину якось не так. На панщину більше Гриць відказує.

— Ага, то певно старий його навчив! — зареготав ся Осип. — Ну, але який же кінець хоче зробити панич із усею тою бідою?

— Та каже: всьому винні Німці. Від них уся біда.

— Он воно що! Хяба Німці завели панщину? — скрикнув Осип.

— Та паннч каже, що Німці. Вони наказали писати лівентарі, а з лівентарів усе лихо.

— Німці в нашім краю збогатили ся! — додав другий парубок. — Послухай, якої сьпіванки навчив нас паннч. Ану, хлопці, разом голосами!

- І серед вечірньої тиші разом кільканацять молодих голосів затагло пісеньку:

Прийшли Німці до краю
По свойому звичаю
З телячними торбами,
Тепер вони панами.
Дорога сіль, табака!
Кождий Німець собака:
Що з Поляка зрабує,
В свої сакви пакує.

— Ха, ха, ха! Правда, гарна пісенька! — зареготали ся парубки, скінчивши сьпівати.

— Гарна, гарна, — понуро мовив Осип. — Тільки не дай Боже, щоби про неї довідав ся пан комісар або який иньший урядник.

— Або що?

— Ну, сьпівали-б ви її собі по пару літ на Грай-горі.

— На Грай-горі? А то що за Грай-гора?

— То такий палац, що в нїм живють закляті царевичі — а все в кайданах та до тачок мриковані, а їх пильнують дракони — а все при шаблях і під карабінами.

— Господи! Що-ж воно таке? Ми гадали, що тільки в байках таке є, а ти говориш — —

— Ой, тай дурні-ж ви! — огризнув ся Осип. — Ну, то скажу вам на розум. Грай-гора, а по німецьки Шпільбері, то такий фестунок, що в ньому карають найтяжших кримінальників. А тепер такі накази острі, що за отаку пісеньку як нічого дістанеш пару літ тої Грай-гори.

— Ой Господи! — жажнули ся парубки. — А панич нічого нам не казав про се. Правда, він казав мовчати, але то тільки до якогось часу. Потому — каже — —

— Коли потому?

— Або ми знаємо! Казав, що незадовго мусить бути кінець усій нашій біді.

— Кінець! А яким способом?

— Він того не казав.

— А ви його не питали?

— Та ніяково було. Але раз Гриць запитав, а він відповів, що швидко все нам розповість, а тепер ще не може.

— Ага! — мовив Осип. — Ну, так я вам скажу. Слушайте, хлопці, але також нікому про се не говоріть. Навіть татови анї мамі ні! Бо з того може бути велика біда.

— Ну, говори, говори! — гомоніли зацікавлені парубки і збили ся в купу довкола Осипа.

— Пани приготують повстанє проти нашого цїсаря і хочуть і нас, хлопів, затигнути до нього.

— Го, го! Не діждуть! А то яким правом? — закричали парубки.

— Тихо, хлопці! — мовив Осип. — Знайте се кожний для себе, але ша, язик за зубами! А до панича на розмови більше не йдїть!

— Нехай його суха ялиця бє! — обїзвав ся один парубок. — Він нас горівкою частує, пироги каже варити, говорить так масно. Ми гадали, що в тім нема нічого злого. Адже панич учений, то борше повинен знати, що вільно, а чого не вільно. А коли то Грай-горою пахне, то хоч ти мені там марципанів давай, то я не піду більше.

— І я! І я! І я! — загукали парубки з усіх боків.

— Добре, хлопці, — мовив Осип. — Слушайте мене! Я вас на зло не наведу. А панич, кажете, добре з вами поводить ся?

— Душа не панич! Горівки дає що вечера. Гостить нас на вечеринцях, хліба не жалує, говорить так солодко, мало не цілує ся з нами.

— Шкода, що в таку небезпечну справу вдає ся.

— Може би його остерегти?

— Алє, гадаєш, що то на що придасть ся? Вже як він собі раз узав щось на гадеу,

то й головою наложить, а свого не попустишь.

Осип перервав сю розмову.

— А де ті ваші сходи́ни бувають?

— У старої фірманки, у Митрихи.

— У глухої?

— У неї самої.

— А коли мають бути найближші сходи́ни?

— Та паняч казав завтра, в неділю.

— Добре. Не йдіть же-ж ви ніхто, я піду сам.

В часі тої розмови парубки минули ліс і вийшли на поле. Перед ними в низу лежало село, повите сутінком; тільки де-де крізь пільму прорізували ся кроваві искорки — се сьвітло з сільських хат. Лісова стежка збігаючи в низ перед самим селом доходила до дороги, що злучувала село з дальшим сьвітом і йшла до Лютовиск. У тім місці, де стежка виходила на дорогу, стояли панські залубеньки запряжені парою гнідих. Віжки держав Гриць, а в залубеньках, обтулений важкою ведмежою шубою сидів паняч Нікодим. Тільки його лице з довгими неостреними вусами видніло ся з посеред мягкого медвежого пуху.

— Добрий вечір, хлопці! — гукнув паняч.

— Доброго здоровля панячеви! — відповіли парубки.

— А що, ви з ліса?

— З ліса.

Парубки проходили попри залубеньки кланяючи ся. Залубеньки стояли на місці. Коні форкали і перебирали ногами бажаючи бігти до стайні. Панич мовчав, немов надумував ся. Він очевидно хотів щось сказати парубкам і для того побачивши їх здалека і почувши їх голоси велів зупинити коні. Та тепер, побачивши серед юрби Осипа, завагував ся. Далі переміг себе. Коли вже парубки всі минули його, він гукнув їм в догін :

— А слухайте, хлопці! Приходіть нині! Розумієте, нині, не завтра. По вечері приходіть зараз. Маю вам щось цікавого сказати.

Парубки йшли далі. Ані один голос не відгукнув ся на паничеві слова. Швидко вони війшли в село і почали розходити ся по хатах, а панич з Грицем завернули в бокову вулицю, що понад потік вела просто до двора. Не доїздячи до двора панич післав Гриця до старої Митрихи з наказом, аби зараз лагодила вечерю для парубків, а сам узяв поводи і цмокнувши на коний в'їхав на подвірє.

IV.

— **Т**аточку, повстане буде! — скрикнув Нікодим не дуже то голосно і не дуже то радісно входячи до батькового покою.

— Маєш бабо редути! — буркнув старий ман. — А коли?

— Вісімнадцятого лютого.

— Що, що, що? Вісімна-ця-того...

— Так є. Речинець в Парижі уложили. Вибух має наступити рівночасно в Галичині і в Познанщині.

— Чи вони подуріли? Вибух! Ну, хто і з ким має вибухнути?

— Кождий дідич має узброїти своїх свояків здатних до оружя, своїх льокаїв, мандаторів, лїсничих і всяких офіціялістів і тягти з ними на означене місце.

— На зломану голову.

— Таточку, як ви говорите! Тут кровю пахне, тут історичний момент безмірної ваги...

— Іди до дідька з своїми історичними моментами! — гнівно скрикнув батько. — Коли всі вони такі бездонно дурні, то я волю жити без ніякої історії.

— Таточку! Боже мій, що ви говорите!

— Ну, скажи, хіба не правду? Узброювати слуг і льокаїв! І вести їх — куди?

— До Сяюка. Дня 18 лютого в ночі маємо зібрати ся з цілого циркулу, напасти на гарнізон, повязати вояків, забрати оружие, а тоді опанувати місто, уряди, каси.

— Шах, мах! Ори, мели, їдж! З льокаями і мандаторами напасти, забрати, опанувати... Ну, скажи мені, Димцю — і батько ставши перед сином узяв його обома руками за плечі і дивив ся йому просто в очи, — ти, здасть ся, ще розумний чоловік, з глузду не зсунув ся... Скажи мені по щирости: віриш, щоб се дало ся зробити?

— Не дуже, — приниженим голосом мовив Нікодим.

— Не дуже! Значить, віриш хоч троха.

— Ну, що-ж! Так зовсім неможливий той плян не є, — живо мовив Нікодим. — Як би з нашого циркулу зібрала ся хоч половина шляхти, а кождий привів з собою хоч по пять людей, то була би зовсім показна сила. Гарнізон у Сяюку малесенький, усього один батальйон піхоти і дві швадрони драгонів. У ночі не трудно би було —

— І не вже твій головусий график піде на се?

— Видно по нїм, що не дуже його серце тягне до сего. Але там Дембовский був. Ах, таточку, як би ви почули, як він говорить! Яким полум'ям бухають його слова! Як палять душу і путають розум! Здасться, слухаючи його чоловік сам один з голими кулаками пішов би против гармат. Усі труднощі, всі вагання щезають. Сила волі, запалу, посв'яченя у того чоловіка величезна! По просту стидно робить ся сперечати ся з ним за дрібниці, коли бачиш, які широкі горизонти він обхоплює своєю думкою, коли знаєш, що ціле житє того чоловіка — то одно безграничне посв'яченє для вітчизни, одна любов, одна боротьба, одно ходженє перед баїнетами і шибеницями. Стидно, таточку! Ми зовсім відвикли від воєнного стану, від пороху, живемо в тихихнорах, мов ніколи не думаємо вмирати. Жий ми так і тисячу літ, ніяка народня справа не рушить ся ані кроком наперед.

Старий пан повурив голову.

— Отсе й є нещастє! Нема на св'іті такої дурниці, такої безглуздої справи, котра-б не знайшла свого запаленого апостола і свого мученика. А такий один тягне за собою тисячі, навіть не дурних і чесних людей. І дурниця робить ся великою ідеєю, робить ся безсмертною.

А потім, пройшовши ся кілька разів по покою він нараз зупинив ся перед сином і запитав:

— А уряд знає вже про ваші пляни?

Нікодим поблід як стїна.

— Що ви, таточку! Як же можна! В тім діла річ, щоб уряд не знав, аби не міг приготувити ся, щоб заскочити його несподівано.

— Несподівано! — з гірким насміхом мовив старий. — Де стілько тисяч людей знає про се, говорить про се, переписуєть ся про се, де навіть листи запечатують косами і повстанськими емблемами! Димцю, Димцю! Погану історію ви робите! Не подякують вам за неї ваші потомки.

— Так ви думаєте, що уряд знає щось? — мовив змішаний Нікодим.

— Що я маю думати? Я з урядом на розмові не буваю. Я тільки пригадаю тобі, що кілька разів у нас бували ті емісарії, уряд усе дізнавав ся про них.

— Догадую ся, що се Осип доносив.

— Осип, чи не Осип, а хтось із слуг, із хлопів. І тепер хлопи вже мабуть знають про ваш плян.

— Хлопи? Ні, не думаю. Я з парубками про всяку всячину говорив, але про близьке повстане ніколи.

— А про те вони все знають. Тут у мене сьогодні історія була.

— Ну, що за історія? — ледво чутно запитав Нікодим. Його серце тьохнуло, прочуваючи якесь лихо.

— Сьогодні вечером, — якось знехотя мовив пан Пшестшельський, — прибігає до мене Домагальський і говорить, що хлопи на тоці говорять про близьке польське повстанє. Які хлопи? Показуєть ся, що говорить твій коханий Тимків.

— Ну, і що-ж говорив?

— Те й говорив, що пани ладять ся до повстаня. Вечером я запитую його, що се таке і по що він говорить, а він до мене остро, знаєш, ставить ся так, мов він тут пан. А хлопи також за ним. Ну, сим разом я не дав собі по носі грати...

— Таточку! Бійте ся Бога! — скрикнув Нікодим. — Чей же ви не веліли бити Тимкового?

— А ти думав, що що? Було його по головці погладити?

Панич обома руками вхопив ся за голову і мов божевільний почав бігати по покою. З його горла виривали ся глухі стогнання.

— Ну, що дурієш! — понуро мовив батько.

— Не я дурію, а ви! — люто скрикнув син. — Адже-ж те, що ви робите, то стрічок на наші шиї.

— А дідько вас знав, що ваші шиї такі близькі стричка.

— Ні, я справді зовсім одурію з вами! Боже, ратує мене! — з розпукою скрикнув Нікодим і захопивши шапку вибіг із покою.

Старий пан довго дивився на двері, мов ждав, що він ось-ось верне. Потім сам рушив до дверей, щоб іти за ним, але на пів дорозі зупинився, вернувся назад і сівши на софі закурив люльку. Він любив сина, але надто сильно привик ходити утертою стежкою, жити в старім, традиційнім ладі і світогляді, щоби міг зрозуміти подуви нового часу і його потреби. Клуби диму, що бухали з його уст, успокоїли його.

— Зле сталося, що я велів побити того Тимкового, се так. Але знов так надто зле не сталося. Непокірного хлопа ломає в першій хвилі. Остро з ним! Без слабости, без чутливости. *Rustica gens optima flens, pessima ridens.* А Димцьо позлостить ся і перестане, а його знаю. От з тим повстанем, то справді біда, але може то ще якось буде. Може воно обійдеться і без нас.

І він завзято запихкав, тягнувши що сили люльку і пускаючи такі клуби диму, що його голова зовсім закрила ся ними. Виглядав у тій хвилі як правдивий Гомерівський „Зевес Хмароборець“.

V.

У баби Митрихи горить у печі. В великих горшках, узятих із двірської челядної кухні, варить ся „мандибурка“¹⁾, в иньших кипить окріп на стиранку, пражить ся молоко, в ринці смажить ся сир. Стара місить тісто на стиранку. Гриць нарубавши дров доглядає печі. В хаті тихо. Чути тріск смерекових полін у печі і булькіт окропу. Гриць з тихим усьміхом дивить ся в огонь, держачи в руках коцюбу. Стара Митриха пораючи ся коло тіста звичаєм глухих людей думає голосно.

— От так, мої дітоньки! У старої Митрихи тепло. У старої в печі горить, у горшках кипить... У старої Митрихи вечеря смакує. Їдьте, дітоньки, їдьте на здоров'я. Згадуйте доброго пана і доброго панича! Він наш поратівник, він наш опікун. Як би не він, то баба Митриха

¹⁾ Картофля.

з бурливих літ.

мусіла би ходити по жебранім хлібу, бо баба стара, заробити не може, чоловіка вбила суха смерека в лісі, а свояків у баби нема, дітей нема, вуйків нема, стрийчаників ані тітчаників нема. Всі померли, саму бабу лишили на сьвітї, саму як билинку в полі. Га, най з Богом спочивають. Може баба Митриха на щось Господу небесному потрібна, що її доси держить на сьвітї. А ви, дітоньки, живіте! Поживляйте ся, а не нагваряйте ся!¹⁾

Гриць у важкій задумі слухав бабиного роздебендюваня. Він чув його вже не раз і не десять разів, знав стару Митриху ще змалку. Коли його взяли до двора, вона опікувала ся ним, як своєю дитиною, не давала робити йому кривди, заступала йому матір, котрій нераз цілий тиждень ніколи було навідати ся до двора. Та тепер він, мішаючи щось у печи, нетерпливо надслухував дожидаючи панича і парубків. Сьогодні мала бути важна нарада. За дві неділі, 18-го лютого, мало вибухнути повстанє. Панич сказав йому се по дорозі; та дорога була така тяжка і небезпечна, що годі їм було розмовляти богато і Гриць сам не знав ще, що властиво мало стати ся і чого зажадає від нього панич. Для того він і до дому не біг, поки не дізнає ся всього. На саму думку про повстанє серце било ся у нього не то радісно, не то трівожно.

¹⁾ Не сваріть ся.

Повстане буде! Підемо воювати! З ким і за що, — про се Гриць не думав багато. І моторошно і любо йому було подумати, як він обік панича йде в огонь, кидаєть ся на во-рога, своїми грудьми заслонює панича від во-рожих нападів, як вони оба здобувають ворожу гармату, як їх усе військо величає і хвалить.

Огонь тріщав у печи, прискав та сичав, а в Грицевій уяві свистіли кулі, ревли гармати, лопотів густо карабіновий огонь, розлягали ся скажені крики. Він зажмурив очи і потонув у мріях і прокинув ся аж тоді, коли розбуль-котаний окріп почав збігати з горшка. Скрип-нули двері і ввійшов панич. Гриць витріщив на нього очи, немов бачив його перший раз в життю. І справді, таким він не бачив його ще ніколи. Панич був блідий як стіна. Мовчки надій-шов до стола і кинувши шапку на лаву сів, не дивлячи ся на Гриця. Від економа він до-відав ся докладнійше про все, що стало ся сього вечера, і був мов убитий. Одно те, що селяни очевидно знали щось про близьке повстанє, а друге те, що батьків нелюдський учинок вико-пав, як здавало ся, пропасть між ним і Грицем. Гриць знав усе, знав у загальних рисах плян і ре-ченець вибуху. Тепер і він готов перекинути ся на бік противників, зрадити все урядови, а тоді оче-видно пропала справа. Панич не знав, що йому робити, як говорити з Грицем. Сей очевидно ще не знав нічого про те, що стало ся з його

батьком. Чи сказати йому се? А коли сказати, то як? І як доказати, що він, панич, не похваляє батькового вчинку, бридить ся ним? Панич ішов до Митришиної хати і силкував ся видумати щось, але війшовши до хати і побачивши Гриця він чув, що не видумав нічого.

— Грицю, — обізвав ся він по хвилі зломаним, зміненим голосом, але не міг сказати нічого більше.

— Що вам, паничу? На вас лица нема. Чи стало ся якесь лихо?

Панич хотів розплакати ся, кинути ся Грицевн в обійми, сказати йому всьо, що стало ся і просити, на колінах благати його, щоби задля сього не покидав сьвятої справи вітчизни, а бодай не шкодив їй. Але його серце було мов стиснене кліщами, він не рушив ся з місця, з очий не потекли слюзи, а уста ледво-не-ледво промовили холодні, бездушні слова :

— Нічого... ні... Чи парубків ще не було?

— Ні, не були, але я надію ся, що зараз поприходять.

— Ні, серденько, не поприходять, — почув ся в дверех різкий, насьмішкуватий голос. До хати війшов Осип, що через підхилені двері чув остатні Грицеві слова.

— Осип! — з переляком скрикнув Гриць — А ти чого тут?

— А тобі що до того? — відрізав Осип. — Чого ти тут? Я тебе спитаю.

— Але-ж тебе не прошено.

— Але я маю діло.

— Діло? До кого?

— Ну, до баби Митрихи! — глузуючи мовив Осип. — Гей бабо, бабо Митрихо! — кричав він над ухом старої. — Я вас сватати прийшов. Хочете замуж іти?

— Замуж! О, а хто-ж мене, сивоньку, візьме?

— Ха, ха, ха! — зареготався Осип. — Не каже баба: не хочу, тільки питаю, хто її візьме. Я вас, бабо, візьму, чуєте?

Гриць не знав, що з собою робити, слухаючи тих Осипових жартів. Він в тій хвилі ненавидів його, був би викинув його з хати.

— Фе, Осипе! — промовив він. — Приходиш сюди непрошений, видиш, що панич ось тут і навіть не поклонився, тільки дурні жарти строїш.

— Панич ось тут? — похопився Осип. — А, я й не бачив. Добрий вечір вам, паничу! — промовив, ніби й справді доси не бачив панича. Сей не відповів на його витане, сидів мов отуманілий. Осип обернувся знов до Гриця.

— Ти, Грицуню, на парубків чекаєш, — мовив він ідовито, підсолоджуючи голос. — Не чекай, моя киденько, вони не прийдуть. Коли ти мав їм щось сказати, то скажи мені, я перекажу.

— А чому не придуть? Відки знаєш, що не придуть?

— Бо знаю. Бо я сам наказав їм, аби не приходили. І тобі, любчику, кажу, щоб ти зараз забирав ся відси.

— Мені? Що ти, здурів, Осипе? Я тебе не розумію.

— А я тебе зовсім добре розумію. Видиш, голубе мій, я знаю не тільки те, що ти знаєш, але також те, чого ти не знаєш.

— Ну, та знай собі, що се мене обходить? — гнівно буркнув Гриць.

— А повинно би тебе обходити, борше ніж мене, Грицуню. Я знаю, що твій тато умирав і тебе дожидає, а ти мабуть того не знаєш, бо як би знав, то певно не сидів би тут і не заглядав у горшки бабі Митрисі.

— Мій тато! — скрикнув з переляком Гриць. — Мій тато умирав? Що ти говориш?

— Правду говорю. Нині по панщині мав від пана такий трактамент, що мусіли його занести до дому. А ти ще того не знаєш? Панич не мовив тобі нічого? То зле, то дуже недобре. Біжи, серденько, до дому!

— Боже мій! — скрикнув Гриць і немов сам не свій хопив за шапку і прожогом кинув ся з Митришиної хати.

— Ха, ха, ха! — зареготав ся в слід за ним Осип. — Ото драпцює, мов не знати на яку гостину!

А коли продудніли Грицеві кроки, Осип з тим самим їдовито-насьмішливим лицем обернув ся до панича і стоячи насеред хати добру хвилю мовчки дивив ся на нього. Панич сидів коло стола без руху, мов труп, з затисненими губами, з очима спущеними в низ. Він чув і розумів усе, що стало ся перед його очима, але був мов приголомшений і не міг здобути ся навіть на одно слово.

VI.

Гстояла важка мовчанка.

Осип очевидно ждав, аби панич промовив перший. Та сей не озивав ся, не дивив ся на нього. Тоді Осип сів на стільчику одалік від панича і оперши ся ліктями на коліна, а голову взявши в долоні, немов споминаючи щось, немов казку кажучи якимсь малим дітям, почав говорити :

— Коли я був малий, то дуже любив наставляти пастки на щурі. Зловлю бувало таку бестию до пастки і маю забаву. Розпечу дріт і притулєю щурови раз до хвоста, потім до лапки, далі до рила, до ока, де попаду. А він усе : пі-пі-пі! А я регочу ся, як він підскакує, веть ся з болю, пікає, крутить ся, перекидаєть ся і не може дати собі ради. І так мучу його нераз день і два дни, поки не замучу на смерть.

Панич стрепенув ся і плюнув, але не говорив нічого.

— А я й не знав тоді, — говорив далі Осип, — що той нещасливий щур у пастці, то я сам. Вийду бувало між сільські діти, почну з ними бавити ся, а вони скоро що, зараз до мене: „Панський собака! Панський собака! Іди геть від нас!“ А мене так як би розпеченим дротом, але не в руку, не в око, а в саме серце. Прибіжу до дому, хотів би пожалувати ся мамі, виплакати ся коло неї, а вона сама сидить у куті на припічку тай плаче тай нарікає: „Ой, моя доленько! Чи на теж я росла, як квіточка цвила! Чи того-ж я ждала, що мене на старість погонять на панщину, що отаманські канчуки будуть гуляти по моїх плечах!“ Чую се і вже не плачу, сльози з горла капають назад у серце і печуть там і дусять і вертять.

Панич понурив голову, але не говорив нічого.

— Але раз мав я за своє. Зловив щура і взяв ся мучити його, але якось дверці від пастки не були добре заперті. Як я припік мо- його щура, як сей кинеть ся, як не відчинить дверець, як не скочить, та просто до мене, як не впеть ся зубами в мою руку!... Я зверещав, прибігла мама, ратує, рве скажену звірюку від мене, та де тобі! Відірвала від руки, він за ногу вчепив ся, гризе, калічить. Ледво-не-ледво вбила його, а мене мусіла водою відли-

вати та хлібом та павутиною рани затикати. Від тоді я зарік ся щурів мучити. Ну, а нині хотів-би й сам мати де з ким такий обрахунок, як той щур зо мною.

— Вороже тяжкий, чого тобі треба? — обізвав ся панич.

— О, тут якась жива душа відзиваєть ся! — промовив Осип, перескакуючи в веселій том і випростовуючись. — Се ви, паничу, коби здорові були?

— Чого тобі треба від мене, говори! — мовив Нікодим не дивлячи ся на нього.

— Та я прийшов вам сказати, щоб ви не ждали на парубків. Вони вам красенько дякують за гостину, але більше не прийдуть на ваші вечериці.

Панич закусив уста.

— Ну, що-ж, не прийдуть, то як собі хочуть. Я їх доси не силував і далі не буду силувати. Чи стільки всього ти мав мені сказати?

— Ні, маю ще дещо.

І він присунув стільчик близько до стола, сів напротив панича і дивлячись йому просто в очи, мовив притишеним голосом:

— Ви лагодите ся до повстаня?

Панич зірвав ся зовсім так, як той щур, котрому приложено розпечений дріт до лапки.

— Хто? Я?

— Ну, не ви самі, а загалом, панове Поляки... по всім краю.

— Нічого не знаю про се.

— Ей, паничу! Говоріть по правді! Мене не ошукаєте.

— Хлопе! Як ти сьмієш?... — грубо крикнув Нікодим, хмурячи брови.

— О, о, о! — кепкуючи мовив Осип. — Так швидко ви забули всю... ту рівність і свободу, що проповідали нашим парубкам! Скоро що до чого, так зараз: „Хлопе, як ти сьмієш!“ Фе, паничу! Се не гарно. І без потреби. Мене тим не застрашите, а собі не допоможете.

Панич затиснув зуби з лютости і розпуки, але мовчав. Він готов був кинути ся на сього поганця і роздерти, зубами гризти його, але здержував себе. Очевидно він знав щось і був певний себе, коли поводив ся так без церемонії з паничем. Щож таке знав він?

— Ну, не хочете ви мені сказати всеї правди, то я скажу вам, — мовив Осип. — Отже 18-го лютого має бути повстанє, відразу в цілім краю, правда?

— Боже! — скрикнув панич і вхопив себе обома руками за голову.

— Ага, допекло? Чекайте, я маю ще дещо! По ночі уоружені панове мають напасти на касарні, повбивати або повязати вояків, позабирати оружє — —

— Лотре! — скрикнув панич і кинув ся на Осипа. — Відки ти се знаєш? Я тебе не пущу відси живого.

Осип був спокійний. Він був сильнійший від панича, а сей не мав при собі ніякого оружя. Зрештою він знав добре, що одним словом може розбити всю паничеву злість, мов вітер чорну хмару.

— Та ви, паничу, не гнівайтеся, — мовив він не боронячи ся, — і вислухайте, що я маю вам сказати, а потім уже робіть що знаєте.

— Ти ще щось маєш сказати?

— Ну, певно. Адже ще найважнійшу річ.

— Най-важ — — Боже, додай мені сили!

— От то, то, то! Справді, сили вам треба! Як ви думаєте, від кого я довідав ся про все те, що кажу вам?

— Від Гриця.

— Ну, то дуже помиляєтеся. Я з Грицем лише стільки говорив, що ось тут при вас.

— В такім разі хиба від чорта.

— От то, то, то, то! Вгадали, бігме Боже, вгадали! — регочучи ся мовив Осип. — Ви були в Сяноку вчора, правда? А я був поза-вчора і довідав ся про все днем раніше від вас.

— У Сяноку?

— Ну, так, у Сяноку.

— Від кого?

— Ви-ж самі сказали, від кого. А по імя його називати не моя річ. Досить того, що не брехав, правда?

— Боже мій! — скрикнув панич у розпуці. — Що се все має значити? Не вже-ж би всьо було зраджено?

— Слухайте, паничу, — мовив далі Осип, переходячи зовсім у поважний тон. — Доси ви бачили в мені ворога. Але я не в ваш ворог. Що було між нами, то було, але мені жаль вас. Ви не злий чоловік. А при тім сама справа, до котрої ви замішали ся, дуже погана, сто раз поганійша, ніж вам здаеть ся. Я хотів би остерегти вас.

Панич сидів понуривши голову, немов ждав іще нового удару.

— Видите самі, що всі ваші заходи дуже добре відомі там, де би не повинні бути відомі. Зрозумієте тепер, що в таким разі зачинати повстанє — —

— Але-ж се неможливо! — скрикнув панич.

— Гадаєте, що вас усіх переловлять, поарештують перед вибухом?

— Ну, певно.

— Отже ні. Будьте певні, що ні.

— А ти як се знаєш?

— Що вас то обходить? Я знаю щось далеко більше. Щось таке... Слухайте!

І Осип нахиливши ся до паничевого вуха, шепнув йому кілька слів. Панич скочив мов опарений.

— Ти здурів, Осипе! Се не може бути!

— Се правда.

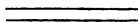
— Але-ж се — —

— Мовчіть! Знайте своє і мовчіть! Я остеріг вас. Робіть тепер, що самі знаєте, але мене не видайте! Добраніч!

І він, насадивши кучму на чоло та схиливши ся в низеньких дверцях бабиної хати пішов геть.

— Осипе, Осипе! — кричала в слід за ним баба. — Ну, а що-ж буде з тим усїм, що я наварила? Де мої хлопчики? Прийдуть зараз? Добре, добре, я зачекаю, — додала вона, немов відповідаючи на якісь слова, котрі підшепнула їй її власна душа.

А панич довгу хвилю сидів на місці, мов остовпілий, не можучи ані ворухнути ся, ані зібрати своїх думок до купи. Він був блідий мов труп.



VII.

В хаті Гната Тимкового сумно, як у могилі. Господаря привели з панщини закровавленого, ледво живого, роздягли і положили на постіль. Стара Гнатиха ломлячи руки плаче та заводить над ним, як над покійником. Сусіди, що привели його до дому, потішають її як можуть, оповідають про те, що стало ся, проклинають пана. Гнат глухо стогне з болю, та не мовить ані слова.

Ось відчинили ся двері і влетів Гриць, блідий, переляканий. Він кинув ся до постелі, захопив холодну батькову руку і почав цілувати її й обливати слізмами. Плакав голосно, як дитина.

— Таточку! Таточку! Що вам таке? Обізвіть ся до мене! Промовте хоч слово! — говорював він.

— Се ти, Грицуню? — промовив Гнат, обертаючи голову і обіймаючи сина поглядом повним любови і турботи.

— Боже мій, Боже мій! — ридав Гриць. —
Ось що вони з вас ізробили! Ось як вони нас
люблять!

Сусіди помалу відвели його від хорого
і розповіли йому все, що стало ся. Гриць слу-
хав, мов остовпійий. Сльози перестали текти,
але з заціплених уст було видно, що в його
серці починало закипати щось недобре. Він
не хотів нічого вечеряти, довгий час сидів ко-
нець стола, мов прибитий, потім мовчки пішов
оглянути обійсте і худобу, позамикав двері
і вернув до хати. Мати ще сиділа на припічку,
хляпаючи і втираючи платком запухлі від
сліз очи.

— Ідїть, мамко, спати! — мовив Гриць
мягко, але розказуючи, як господар хати.

— А ти, Грицуню?

— Я посиджу. Може татови чого треба
буде.

— Не муч себе, дитино моя. Повечеряй
і лягай спати. Я стара, борше встану, бо й так
не засну.

— Ви про мене не журіть ся! — мовив
Гриць.

Мати помоливши ся полїзла на піч і швидко
заснула. В хаті зробило ся тихо. Гриць погасив
огонь і сидів на запічку, по-кінець батькової
постелі. На дворі було ясно, місяць заглядав
до хати крізь маленькі віконця. Під припічком

тяг цвѣркун свою монотонну пісеньку. Старий Тимків застогнав, заворушив ся на постелі.

— Що вам, таточку? — запитав Гриць, схопивши ся з місця.

— Се ти, синку? Подай мені води.

Гриць подав йому деревляний кухлик. Батько напив ся.

— Чому не йдеш спати, Грицю?

— Не можу, таточку. Щось мене гризе в середині. Думаю собі, як то може бути, щоб чоловік чоловіка без суду, без права міг так мучити?

— Його право, синку. Панщина!

— Хто йому дав таке право? Тай чи справді він має таке право? Не досить, що даємо йому свою роботу, всякі данини, а щоб іще він мав право відбирати нам здоровле?

— Що зробимо, синку, коли його сила! Адже-ж ми пробували спротивляти ся, тай що з того вийшло? Збили нас, зруйнували, по криміналах надержали ся, тай тільки всього.

— Ні, таточку, се не повинно, не може так довше бути! — скрикнув Гриць, підносячи троха голос.

— А що-ж порадимо, синку? Чи ти думаєш, що ті молоді паничі, що лагодять ся до повстаня, будуть ліпші для нас?

— Доси я так думав. Нині перестав. Знаєте, наш панич хоч певно знав, що стало ся з вами, а мені не сказав нічого. Певно хотів,

аби я помагав йому намовляти парубків до повстання. О, та не дочекає сьогодні! Аж тепер я бачу його щирість, його доброту. Поки потребує мене, поки я служу йому, потім він добрий і щирий!... О, але я вже знаю, що зроблю. Я їм дам себе знати!

Він говорив швидко, уриваючи, захлипуючи ся в гніву й обурення. Старий батько взяв його за руку.

— Грицю, заспокій ся! Скажи по правді, що думавш зробити?

— Слухайте, таточку! Я довідав ся від панича, що за дві неділі має вибухнути повстання, що пани мають позбирати по селах своїх слуг або й сільських парубків, уоружити їх і з ними разом напасти по ночі на військові касарні, повязати або й повбивати вояків, а потім позахапувати всі уряди і каси. Се має бути початок повстання. Чувте, таточку, на що їм треба було нас? А я зроблю їм збитка. Завтра їду до Сянока і все розповім комісареві, нехай арештує їх усіх! Нехай і вони закоштують троха кримінальської саламахи!

Старий Тимків застогнав, немов щось уколело його.

— Так он воно що! — мовив він ледви чутно. — За дві неділі!... І тебе кликав панич?

— Ну, так виразно кликати не кликав, але я певний, що покличе.

— А иньших парубків?

— Мав нині щось говорити їм, але ніхто не прийшов.

— Ніхто не прийшов?...

— Здаєть ся, Осип остеріг їх. Бо тільки Осип один прийшов. Не знаю, що там він говорив з паничем. Я лишив їх обох.

Довгу хвилю стояла мовчанка в хаті. Далі старий простяг руку і взяв на помацки Грицеву руку.

— Слухай, синку, — мовив він. — Не йди ти до Сянока.

— Не йти? Дарувати їм те знущане над вами?

— Що-ж, Божа воля. Нехай знущають ся, поки мають силу. Швидко може самі пожалують того. А ти своїх рук не погань! Свого сумління не обтяжуй! Я певний, що се повстанє наробить їм біди, але по що ти маєш показувати себе злим і нечесним? Панич добрий з тобою, вірять тобі, — було би погано зраджувати його.

— Ну, а коли він покличе мене до повстаня?

— Ні, синку, не буде того. Тепер бачу, що він не посміє. І навіть Богу дякую, що таке стало ся нині зо мною, бо може сей випадок охоронив тебе від згуби. Тепер я певний, що ані ти, ані жаден парубок із села не піде до повстаня. І добре так. Нехай іде туди, кому

своя голова не мила. Але тобі, синку, мстити ся на нім нема за що, зраджувати його непотрібно.

Гриць слухав батькових слів, похиливши голову.

— І все так, синку, йди. Може мене швидко не стане, то памятай собі мої слова! Панським гарним словам не вір, їх обіцянки май за нізащо, памятай, що їх Польща, то хлопське пекло, — але коли тобі хто повірить щось, завірить себе і свою долю, чи то свій чоловік, чи пан, чи навіть твій найгірший ворог, будь усе гідним того довіря, не зрадь його ніколи. Тільки так дійдеш до того, що будуть тебе шанувати люди і ти сам собі не будеш мав що закинути. Спокійне, сумліне, синку, то найстарша річ. Маємо воювати з ними, то воюймо чесно, явно і отверто, але нечесних способів цураймо ся. Вони ніколи не помагають. Навпаки, вони можуть згубити і найчеснішу справу.

Гриць не мовлячи нічого нахилив ся і цілував батькову руку, обливаючи її горячими слізми.

VIII.

Того самого вечера досить пізною годиною старий пан Пшестшельський сидів у своїй спальні над якимись господарськими рахунками, коли нараз з лускотом відчинили ся двері і влетів Нікодим, блідий, мов із хреста знятий. Не мовлячи ані слова, він знесилений упав на софу і захопив ся обома руками за чоло, сти-скаючи його, немов бояв ся, щоб воно не трі-сло. Батько дивив ся на нього зпід лоба, гнівний ще за вечірню розмову; але бачучи, як син важко дихав і закусує уста мало що не до крови, промовив :

— Що тобі, Димцю ?

Нікодим мовчав. Тільки якесь важке стогнане вирвало ся з його грудий.

— Сину, що тобі ? Чи стало ся яке нещастє ? — вже стурбований промовив батько.

— Страшне нещастє ! Страшнійше, ніж я коли будь міг надїяти ся.

— Що, що таке? Говори бо!

— Все пропало! — з розпукою в голосі мовив Нікодим. — Уряд знає про наше повстання, знає реченець, знає цілий плян до найдрібніших дрібниць.

— А видиш! Не остерігав я тебе? Не говорив я, що то дурниця — оті ваші печатки і змови і втягане ріжних гулящих графіків, а? Ну, але скажи, відки ти довідав ся так напевно, що уряд знає все?

— Осип мені говорив от тепер.

— Осип? Ну, то в такім разі се брехня, — спокійно і рішучо мовив пан.

— Ні, таточку, не брехня! Осип сими днями був у Сяноці і розповів мені докладнісенько все, що ми задумуємо. Від кого міг се дізнати ся? Адже від мене ні, від Гриця також ні, бо Гриць не знає сего всього.

— Але дещо знає? — перебив йому старий пан.

— Знає, — ледви чутно відповів панич.

— То не добре! Ну, та вже все одно. Говори далі!

— Те, що далі мовив Осип, таке страшне, що хіба сам чорт у пеклі міг се вигадати. Слухайте! Урядники постановили собі не арештувати нікого з нас, ждати спокійно вибуху повстання, але вже тепер пускають по селах наказ, аби в хвили вибуху хлопи кинули ся на двори.

— Боже мій! Що ти говориш! — скрикнув старий пан.

— В тій цілі комісарі і старости потаємно скликають війтів і урльопників і видають їм накази. По селах мають стояти варти і не пускати нікого. А на випадок повстання — слухайте, таточку! — —

— Ну, ну! — говорив старий пан, увесь тремтячи мов осиковий лист.

— На випадок повстання вже розпускають таку вість, що з Відня понадходили запечатані накази до кожного староства і мають бути розпечатані аж тоді, коли вибухне рухавка. А в тих наказах ніби то стоїть написано: дозволити хлопам через три дні нападати на двори, мордувати, мучити, грабувати все, що їм сподобасть ся.

Ті слова, висказані Нікодимою холодно, різко, мов неохобний засуд, не прибили і не перелякали старого пана.

— Ну, се вже дурниця, Димцю, — мовив він. — Сього вони не зроблять. Сього ніякий уряд не зробить.

— А я боюсь, таточку, що зробить. Занадто люто вони ненавидять нас, щоб мали завагувати ся і перед сим страшним ділом. А коли би не думали зробити сього, то по що пускали би між хлопство такі поголоски?

— Як то, то й се ти довідав ся від Осица?

— Розуміть ся.

— А йому хто говорив се?

— Не хоче сказати. Та нам байдуже, чи се говорив йому сам староста, чи комісар, чи який иньший урядник. Досить, що там є така думка і комусь залежить на тім, аби вона розійшла ся між народом.

Старий пан понурив голову. Аж тепер він почув, як його душу холодною гадюкою обкручувала тривога.

— Що нам робити, таточку? — питав Нікодим.

— Роби, що знаєш! — прикро огризнув ся батько. — Сам ти помагав заварити сю кашу, то сам думай, як її з'їсти.

— Ви гніваєте ся, а тут не пора на гнів. Треба робити щось. Треба ратувати себе й иньших.

— Иньших! Тобі ще иньші в голові! — скрикнув батько. — Ах ти непоправний ідеалісте! Иньших ратувати! Ми самі на волоску висимо над безоднею, а ти ще иньших ратувати збираєш ся. І кого? Адже я певний, що з них самих хтось побіг до уряду і розповів усї ваші пляни! Адже через Духа сьвятого уряд не дізнав ся про все.

— Ну, я думаю, що поки що не маємо ще чого так дуже бояти ся, — мовив Ніко-

дим. — До вибуху ще дві неділі. Зараз завтра я поїду до Сянока і остережу наших. Розповім їм усе і буду благодіяти, аби відкликали повстанє. Адже-ж се грозить загубою не самим повстанцям, а всій шляхті, тисячам невинних людей.

— А я думаю, Димцю, що то дурниця. Наплюй ти на них! Нехай радять собі, як уміють, а ми завчасу забираймо ся відси і їдьмо за границю, хоч би тільки на Угорщину. Перебудемо там, доки не мине небезпека.

— Ні, таточку. Я мушу поспробувати! Адже подумайте: три дні різні! Я здурів би потому, як би, не дай Боже, справді прийшло до вибуху, а я знав би, що міг остерегти людей, запобігти сему нещастю, і не зробив того. Се було-б обридливо, нечесно з мого боку. Ні, я їду зараз завтра рано. Сам їду, ніхто нехай не знає, куди і до кого. Постараю ся справити ся як найшвидше. Може застану ще Дембовського в Сяноці, се було би дуже добре, бо в його руках усі нитки сходять ся. Та сьак чи так, я верну за кілька день і тоді поміркуємо, що нам робити далі. А ви тут — —

— Ну, ну, вже ти не давай мені ніяких наук! — понуро мовив батько. — Я й сам буду знати, що маю робити. Тільки ти вертай швидко, поки ще проїзд можливий.

На тім і стало. Серед важких думок батько й син попрощали ся і пішли спати, та довго ще один і другий неспокійно кидали ся на ліжках, обмірковуючи, що їм робити в тих тяжких хвилях, які мала принести недалека будущина.



IX.

Минули два тижні від того часу, два тижні страшної непевності і тривоги для старого пана Пшестшельського. Нікодим як поїхав, так немов камінь у воду. Ні вістки, ні чутки про нього не було. А тимчасом довкола вставали грізні хмари. Тривожні знаки показували ся скрізь. У селі йшли якісь потайні наради. Урльопники їздили то до Сянока, то до Балигорода, то по иньших селах. Якісь незнайомі фігури показували ся в селі, заходили до вітатоминаючи двір. Сам, серед тої душної атмосфери непевності і вижидання, старий пан сидів мов зачумлений у квантані. Нуда його мучила, ніяка робота не йшла до рук, ніяка думка не клеїла ся в голові. Весь день він ходив по покоях, мов неприкаяний. На подвір'я, на гумно рідко заглядав. На хлопів якось не то стидав ся, не то бояв ся й глянути. Панщина йшла по давньому, люди молотили, віяли,

різали січку, чистили стайні, зносили зерно до шпихлів, але панови огидливо було навіть заглянути, що і як там робить ся. Він знав, що молотільники дармують, що віяльники крадуть зерно мішками, несуть до коршми і пропивають, та його душа була розбита, знесилена, він не мав сили ані відваги зробити порядок. Правда, раз, коли бачив з ганку, як один урльоппник таки при ньому, без сорома і без боязни, набирав з купи жита в мішок, він хотів зірвати ся і кинути ся на провинника, та його зупинили слова иньшого урльоппника, що немов не бачучи пана, вговорював злодюжку:

— Фе, Максиме! Не бери того! Не руйшай! За пару день і так усе те буде наше!

Пан Пшестшельський аж задеревів, чуючи ті слова. Його неясні доси побоювання тепер стали перед ним зовсім виразно, мов грізний привид. Сон його не брав ся вночі, апетиту не стало. Він переживав страшні дні, посивів за ті два тижні як голуб.

А Нікодима як не було, так не було. Ані вісточки про нього! Ані вісточки про те, чи буде повстанє, чи вже вибухло, чи відложено? На дворі сипав сніг, курило, дороги в горах були непрохідні, заметі страшенні. Ані листи, ані газети не приходили до пана, — він жив мов у тюрмі, сам самісінський зі своєю тривокою і мукою, серед тих понурих, злобних, як йому здавало ся, хижих і наострених на його заги-

біль селян. Що робити? Тікати з села самому, без сина? чи ждати на нього? Ждати, та доки? Умовлений реченець вибуху повстання вже зближав ся. А що, як Нікодим не верне і випадки заскочать його тут самого? Пан Пшестшельський надумав ся, що таки ліпше буде самому, поки живий та здоров, перебрати ся на Угорщину. Одного вечера він покликав візника і велів йому на другий день злагодити залубні і дві пари коний.

— Ясний пан хочуть десь їхати? — запитав візник, чухаючи ся в потилицю.

— Так, — мовив нерадо пан.

— А куди поїдемо, прошу ясного пана?

— На угорсьєу границу.

Візник стояв і чухав ся, а помовчавши хвилю, додав:

— То буде трудно, прошу ясного пана.

— Чому?

— Замість страшенна.

— Коби до ліса, а в лісі заметі такої нема.

— Ба, коби до ліса! — мовив візник, моргаючи значучо.

— Ну, а що-ж, хиба се так трудно? Тягару ніякого, дві пари коний.

— Та я не про те... З снігом би ми якось порадили.

— Ну, а що-ж там іще?

— Та не пустять нас.

— Хто не пустить?

— Люди.

— Які люди?

— Та от, хлопи. Хлопські варти.

— Які варти?

— Адже від учора по всіх селах на воротах варти стоять. День і ніч вартують. Нікого не пускають. Живої душі! Не вільно без паса, а як панів, то й з пасами беруть.

— Беруть?

— А так, арештують, вяжуть, і до староства.

Пана Пшестшельського мов би ножем по горлі шелеснув. От тобі й на! От і дочекався! Тепер клямка запала! Все пропало! Тепер він на ласці хлопства, може кожної хвилі ждати нападу, смерти. Йому пригадали ся слова урльопника на тоці: „За кілька день усе те буде наше“. У нього дух сперло в грудях. Він сидів мов остовпілий, дивив ся тупо перед себе і нічого сінько не бачив. А візник усе ще стояв коло порога, чухав ся в потилицю, хотів очевидно сказати щось, та ждав лише, щоби пан заговорив до нього. Але бачучи, що пан мов і не видить його, він ввінці заговорив сам:

— Прошу ясного пана.

— Га! Що? Ти ще тут? — немов зі сну прокинув ся пан. — Чого тобі треба?

— Та я би хотів знати, чи лагодити ся на завтра в дорогу, чи ні?

— В дорогу! Яка-ж то дорога буде? Ні, лишу ся вже тут! Маю гинути, то краще гинути дома, — подумав пан і перемагаючи себе ледво чутно промовив:

— Ні, не поїдемо.

— Добре, прошу ясного пана. Я думаю, що се буде найліпше. Нехай ясний пан не їдуть нікуди. Там небезпечно, дуже небезпечно.

І він наблизив ся кілька кроків до пана і боязко озираючи ся позад себе, немов лякаючись, аби хто за дверима не підслухав його, мовив притишеним голосом:

— Хлопи видають ся на панів, бють, зневажають... Ай! бою ся, що ще гірше буде. Відгрожують ся страшенно.

— І наші також?

— Та наші не так, хоч в й між ними загорілі. Але по иньших селах. Страшне щось лагодить ся!

— Що-ж, божа воля. Що Бог дасть, те й буде, — мовив пан.

— Певно, певно! Та я боюсь, що буде страшне лихо. Коби тільки наш панич — —

Він урвав. У старого пана, що сидів при столі, підперши руками сиву голову, бризнули з очий сльози, густі, грубі як горох і закапали на стіл. Візника вхопили вони за серце.

— Прошу пана, нехай пан не плачуть! — мовив він, приступаючи ще ближше. — Може то ще так зле не буде.

Старий пан сидів нерухомо, а сльози лили ся з очий мов дві річки.

— Знають пан, — мовив далі візник, — я би панови щось порадив. Може би воно так найліпше було. Нехай пан завтра скоро сьвіт велить покликати вїйта, присяжних і ще кількох із громади, старших і поважнійших. Я думаю, що найліпше пан зроблять, коли віддадуть себе і все своє добро їм під опіку. А бодай нехай пан розмовлять ся з ними.

— Добре, сину! — ледво промовив пан. — А тепер іди!

Візник пішов. Пан Пшестшельський довго ще сидів нерухомо і думав. Сльози давно перестали плисти з очий, тільки спора калюжка їх ясніла перед ним на цераті до сьвітла двох воскових сьвічок, мов розлите живе срібло. Пан міркував про своє положенє сяк і так, та не міг надумати нічого ліпшого понад те, що прирадив візник. На другий день рано він велів покликати вїйта і людей.

— Слухайте, вїйте і ви люди, — мовив пан. — Чую, що в селі відгрожують ся на мене. Скажіть мені по щирости, що маєте против мене, чого хочете?

Люди не надїяли ся такої промови і не знали що сказати. Далі вїйт надумав ся.

— Прошу пана, ми не маємо проти пана нічого і ніхто проти пана не відгрожуєть ся. Ми тільки маємо острый наказ із крайзамту пиль-

нувати, аби по селах ніхто не бунтував лю-
дий, аби ніякі бунтівники не волочили ся.

— У мене їх нема.

— Так то воно, так, але де-ж панів
панич?

— Не знаю, люди добрі. Ще дві неділі
тому поїхав до свояків і від того часу не знаю,
де обертає ся.

— Ой, не до свояків він поїхав! — про-
мовив один селянин.

— Знаємо ми добре, куди він поїхав! —
додав другий.

— Повстаня йому забагаєть ся! Ойчизни!
Цісаря і цісарських урядників із краю виган-
янти! — вже зовсім голосно крикнув третій.

— Тихо, люди! — крикнув вїйт. — Дайте,
най я говорю. Чуйте, пане, що люди говорять.
Ваш панич бунтівник і ми мусимо його ареш-
тувати і відвезти до крайзамту, скоро тільки
покаже ся в селї.

— Га, що-ж, коли такий маєте наказ — —

— Такий наказ! Острий наказ! — по-
твердили селяни.

— Бачите, люди добрі, я сам, старий,
немічний, до повстаня мене не кортить, до
бунтів неохочий — —

— Ми пану нічого не мовимо. На пана
ми не маємо ніякого наказу.

— А про те чую, що й на мене в селї
відгрожують ся.

— Га, щож! Ми людям ротів не позати-
каємо! — мовив вїйт.

— У неодного ще шкіра свербить від
панських канчуків і буків! — крикнув із заду
сьмілий голос.

— Люди добрі, — мовив пан. — Признаю
перед вами, що я не раз був занадто острій,
занадто щедрий на ті буки, — га, щож, робіть
тепер зо мною, що знаєте. Бачите самі, я ста-
рий, немічний, нікого при мені нема, я в ва-
ших руках. Віддаю ся під вашу опіку. Я не
був для вас таким уже надто лихим паном. Не-
одного я ратував у потребі, неодному помагав
у слабости — самі признаєте...

— Та то правда, правда, — озвали ся
деякі голоси.

— Має хто до мене який жаль, зазнав
від мене кривди, що-ж, я готов надгородити
йому по зможі. У кого недостаток, їсти нема
що, топлива хибув, — беріть із могого. Беріть
кілько вам треба, тільки не марнуйте, не про-
пивайте, Жида не збогачуйте. Даю вам усе
з доброї волі, то й ви беріть доброю волею. А
почнете грабувати, то що з того буде? Мені
зробите шкоду, а собі невигоду, тай ще грїх
будете мати перед Богом.

Люди вислухали сеї промови і попросили
пана зачекати хвилечку. Вони вийдуть на гумно,
нарадять ся і дадуть відповідь.

Яка вже там була нарада між ними, то була, досить, що по якімось часі війшли всі знов до покою і війт іменем громади дав таку відповідь:

— Громада приймає ся того, що пан кажуть. Громада не хоче пана руйнувати. Можуть пан бути безпечні. Що буде треба бідним на прогодовок, то з панського візьмемо і то не буде ніде записано. За те громада поставить від себе кількох людей, аби пильнували двора: анї пану щоби ніхто не зробив нічого злого, ховай Боже! анї в дворі аби щось злого против громади не коєно, от як би панич вернув або які иньші пани наїхали. А як би щось таке робило ся в дворі, в такім разі виразно пану говоримо, що громада ні за що не ручить. Є острый наказ усяких бунтівників ловити, вязати і відставляти до циркулу.

Пан Пшестшельський згодив ся на се. У нього немов камінь звалив ся з серця. Прикро було жити під хлопською вартою і бути цілком у руках своїх підданих, але бодай не було тої непевности і вічної тривоги. До двора йому врядили трьох старших господарів, в тім числі й старого Тимкового, і кількох парубків, в тім числі й Осипа. При них пан чув себе безпечним і вони заспокоїли його, що при них не стане ся йому нічого. От як би панич вернув тепер, то з ним могло би бути зле.

Пан Пшестшельський не розумів гаразд, яке то „але“ могло ждати його сина. Аж геть пізнійше він пригадав собі ті слова. Вони були сказані 20 лютого; селяни мабуть уже чули дещо про різню по иньших повітах, та не говорили про се панови нічого.



Х.

Було се д. 25 лютого пізнім вечером. Небо ще було вкрите низько навислими, оловяними хмарами, але сніг уже не сипав, вітер не шумів і не курив снігами. Потемніло. В лісах тріщали смереки під вагою снігу, що грубезними плахтами лежав на їх гіляках і тут то там з лускотом валив ся в низ. Було темно; тільки десь-десь на шпильях горбів або на стрімких берегах ярів ся сніг синьоватим фосфоричним блиском. У селі було глухо, та дивлячи ся з південного боку на ту низку хат порозкиданих здовж річки в досить великих відступах одна від одної видно-б було ряд золотистокровавих цв'яшків — се сьвітло, що миготіло з тісних віконець. По хатах ще майже ніде не спали, та за те на подвірях було глухо, тільки пси гавкали та чути було, як у стайнях сопуть та зітхають воли. Тільки на обох кінцях села в лубяних колибах сиділи купки людей, голосно

балакаючи, та від часу до часу перекликаючи ся; се були вартові, що стерегли тут день і ніч. Нудно їм було, бо до їх відлюдного гірського села не доходила та кровава хуртовина, що так люто перейшла майже по всіх округах західної Галичини.

Того самого вечера Гриць Тимків був чогось дуже неспокійний. Він тепер сам був дома, сам мусів доглядати господарства, бо батько був у дворі коло пана. Розуміть ся, роботи в зимі для його здорових рук і прудкої вдачі було не так то й багато, і Гриць при помочи матери й служниці сак-так давав собі раду. Та сего вечера якось усе не йшло йому в лад. Чи то такий уже день був, чи може він почув звістку про те, як мазурські хлопи ріжуть панів, як великими чорнявами (купами) ходять від села до села, грабують, палять і руйнують двори, мучать і мордують панів. Про все те вже прилетіла в село звістка, але наказу з Відня ані навіть із Сянока не було. Люди прирадили держати свого пана під дозором, на грабівництво не хапати ся, та держати острі варті і чекати, що буде далі.

Всі ті вісти кидали Гриця в дрож. Ось воно як! Повстанє вибухло, та ті самі хлопи, що їх повстанці хотіли звільнити з тягарів і з панщини, кинули ся на своїх добродіїв, бють, мучать, ріжуть їх! Що се таке? Як могло се стати ся? Відки така злість, таке

засліплене у людей? Гриць не міг зрозуміти цього і тремтів при самій думці, що й панич Нікодим мусів замішати ся в те повстанє і певно вже десь лежить забитий, замучений, помолочений ціпами або проколений вилами. Він не міг усидіти в хаті і надівши кожух та кучму пішов обійти ще раз стодолу, стайні і всі хлівці.

Коли проходив коло стодоли, ловлячи вухом кожний хоч і найлекший шелест, він нараз зупинив ся. Чи йому причуло ся, чи справді на найближшій оборозі щось зашелестіло сїном, а потім немов зітхнуло? Одним позирком він окинув цілу місцевість і побачив, що справді до оборога, досить високо накладеного сїном, була приставлена драбина.

— Як то може бути? Адже сей оборіг припущений, сїна з нього не береть ся, то й драбини до нього я не приставляв. Значить, приставив хтось. Агов! Знов шелестить.

Не було сумніву. На оборозі хтось був, хтось чужий. Зміркувавши се Гриць в одній хвилі прискочив до оборога, вхопив драбину, відставив її до другого оборога, а тоді, певний, що незнайомий гість без драбини не злізе, значить, сидить на оборозі мов у лапці, запитав не дуже голосно:

— Гей, хто там на оборозі? Зла чи добра душа? Обзивай ся!

На оборозі було тихо. Ніхто не обзивав ся.

— Я чув, що там хтось є! — говорив троха голоснійше, але все ще здержано Гриць. — Обізви ся, хто ти, бо нароблю крику і покличу варту. Втекти не думай, я драбину відставив.

— Чи се ти, Грицю? — адушеним полушепотом запитав хтось із оборога.

— Е, чи то один Гриць у селі! — відповів Гриць, не можучи пізнати по голосі, хто би се міг бути.

— Гриць Тимків! Се ти?

— Я. А ти хто?

— А ти там сам? Ніхто мене не вчує?

— Сам.

— Я панич, Грицю! — промовив голос із оборога, сим разом виразно і натурально, так що Гриць зараз пізнав його.

— Господи! — мало що не скрикнув парубок. — А ви де тут узяли ся, паничу? Що з вами? Ми всі думали, що вас уже нема й на світі.

— Грицю, голубе мій! — шептав далі панич, — я вмираю з голоду.

— Ах, Боже мій! — скрикнув Гриць. — Чекайте тут, я зараз принесу вам дещо попоїсти.

І Гриць поперед усього приставив знов драбину до оборога, потім метнув ся до хати і по хвили був уже на оборозі коло панича. Чарка горівки, горщик молока і кусень хліба підкріпили панича. Та Гриць не сидів при ньому.

Він доторкнувши ся його зараз почув, що панич увесь мокрий і зараз же побіг знов до хати і приніс сухе шматє, чоботи, холошні, кожух, та тут же на оборозї допоміг паничеві передягти ся. Тільки тоді, прикривши продроглого сїном і обігрівши його, він почав розпитувати:

— Ну, що з вами? Де ви бували? І що там чувати в сьвітї?

— Страшно, Грицю, страшно! Не доведи Боже бачити, анї згадувати, анї оповідати нікому, що там дієть ся! Та чекай! Чи бачив хто у тебе в хатї, як ти порав ся?

— Ні, не бійте ся! Ніхто не бачив. Тато в дворї, а мама і слуга сплять.

— Тато в дворї? Що-ж там робить ся в дворї?

— Та нічого! Громада приставила людей, аби пильнували двора. Не бійте ся, вашому татови нічого злого не стане ся. Тільки вам не можна показувати ся анї в дворї, анї в селї.

— Знаю се і для того сюди запхав ся. Ти мене не зрадиш, Грицю, не видаси на загибїль?

— Що ви, паничу! Я мав би... Ну, що там було, то було, але від мене не бійте ся нічого!

Панич ухопив Грицеву голову обома руками і почав цілувати його в очи, в лице,

в чоло, а Гриць чув, як на його лице з паничевих очей капали горячі сльози.

— Та що ви, паничу! Заспокійте ся! Розповідайте, що було з вами? Як стоїть справа?

— Ах! — важко зітхнув панич, — пропала наша справа, на довгі літа пропала! Страшно помстила ся на нас наша неоглядність. Скористали з неї вороги і поки ми снували рожеві думки про побіду, про відбудоване вітчизни, вони остріли на нас ніж і вітнули його в руки темного брата, того самого, що ми хотіли потягти за собою і попхнути на ворога!¹⁾

— Значить, Осип правду говорив? — понуро мовив Гриць.

— Страшно, кроваву правду. Як би ти знав, що там виробляють з панамі! Як там катують, мучать, знуцають ся! Як возами везуть накидані в суміш тіла — повбиваних і ледво живих, а за возами по гостинцях кроваві річки лишають. Боже! Я бачив се на власні очі і здаєть ся, що від того виду ніколи в житю не засну спокійно.

¹⁾ Розумієть ся, п. Нікодим говорить тут в дусі тодішніх польських патріотів. Та треба сказати — і навіть оборонці австр. уряду не заперечують того: деякі урядники в ту пору поводити ся так, що серед селян могла повстати думка, буцім то уряд бажає собі різні. Розумієть ся, балакане про наказ із Відня, про фатальні »три дні« і т. и. — легенда, а не історія.

— Ну, але де-ж ви були? Як виратували ся?

— Ах! Краще й не згадувати! — зітхнув панич. — Поїхав до Сянока, там нелад, ніхто нічого не знає, балакають багато, гуляють, мов на празник готують ся. Говорю їм, на що заносить ся — сьміють ся з мене, мов із дурня. Та знайшли ся два-три розумнійші, кажуть: „Се може бути правда, але ми самі не можемо нічого змінювати. Наказ є — 18 лютого починати повстанє і того мусимо держати ся. Час уже короткий. Але може би ще дало ся щось зробити. Їдь до Ясла“. Поїхав я до Ясла — там те саме. „Їдь до Тарнова — там головна коенда“. Поїхав я до Тарнова. Се забрало тиждень часу, а що муки, невігоди, гризоти! Приїхав, поки допитав ся до тих коендантів, знов день минув. Говорю їм: так і так. Кажуть: „Бачимо й самі, що не добре, та вже пізно. Не спинимо руху по всім краю“. Аж тут бух — із Кракова йде коенда, що не 18, а 20 вибух. От тобі й на! Настало цілковите замішанє. Кому давати знати? Хто повідомлений про сю зміну? Нічого не знати. А тут з усіх боків вісти, що народ по селах бурить ся, варті стоять і не пускають нікого, Жиди дають людям горівку задармо, старости скликають війтів і урльопників, балакають з ними щось до пізної ночі. Бачу я — біда! Згадав про тата, що тут лишив ся сам, і не дожида-

ючи кінця подав ся назад. Та вже в панській одежі годі було рушити ся. Перебрав ся за хлопа, бороду зголив, вуси обстриг коротко, роздобув воза без драбинок, ніби по дрова їду, тай рушив. З тяжкою бідою добрав ся до Ясла, та тут уже наскочив на запусти. Попав у хлопську чорняву, в саме пекло. Як раз там пару дворів спустошено, кільकाвацять людей помордовано. Вхопили мене з фірою і не питаючи богато, навантажили мій віз тими трупами. Я пізнав між ними кількох із тих, що перед тижнем балакали зі мною і сьміяли ся з мене. Як то мені було везти їх на своїм возі! Я не міг витримати довше. На однім нічлізі, коли вся купа хлопів була п'яна, я взяв одного коня, ніби веду його напоїти, та за селом сїв на нього тай чкурнув. У мене був значок від ватажка тої чорняви, хлопа Шелі. Де мене спиняє варта, там я покажу той значок і говорю, що везу пильні вісти в сяніцьке, щоби й тут починати гулянку. І всюди мене пропускали і бажали доброго успіху. От так я приїхав аж до Сянока. Але тут у однім селі мене пізнали. Щастя, що я був на кони. Кинула ся за мною погоня, та не догонила, але я зміркував, що далі годі мені їхати селами. Я продав Жидови коня і рушив у гори стежками. Три дні я йшов, копаючи ся по снігах, не бачучи душі живої, ночуючи по оборогах. Сотки разів я вже лагодив ся вмерти чи то в снігових заметях, чи

в вовчих зубах. Та дав Бог, що все якось минуло. Я добрав ся до нашого села вчора коло полудня, просидів до вечера в лісі під смерекою, позираючи в низ і не знаючи, що тут діється; бачив, як варти ходять по селі, а коли смеркло са, прокрыв ся на ваше обійсте і виліз на оборіг, думаючи: або вмру тут, або діжду ся тебе, Грицю.

Гриць з правдивим співчутем слухав паничевого оповідання і при кінці горячо стиснув паничеву руку.

— Ну, Богу дякувати, що ніхто не бачив вас, — мовив він. — У нас можете бути безпечні. Навіть як мої старі дізнають ся, то я певний, що вони не зрадять вас. Перечекаєте тут, поки все успокоїть ся.

— Ні, Грицю, — мовив панич. — Се не може бути! Мені не можна чекати.

— Як то не можна? Боїте ся мене?

— Ні, небоже. Я-ж тобі казав, що в однім селі коло Сянока мене пізнали. Я певний, що зараз про се дали знати до староства. А в такім разі не нині то завтра можна надіяти ся в село комісаря з лянсдрагонами.

— Ну, і що-ж? Чей-же тут не знайдуть вас! — мовив Гриць.

-- Дуже легко можуть знайти. Всі в селі посьвідчать, що я з тобою товаришував, ну, то

вони не знайшовши мене в дворі — перша річ підуть сюди і будуть шукати.

— Так що-ж думаєте робити? — запитав стурбований Гриць.

— Мушу тікати далі.

— Куди далі?

— На Угорщину.

— На Угорщину! Бійтеся Бога, якже-ж ви тепер дістанетеся на Угорщину?

— Через верхи, бо на Сянок нема що й думати.

— А через верхи ще тим менше. Там сніги, стежок не видно.

— Що-ж діяти, коли мус?

— Ні, се не може бути! — мовив Гриць. — Я знаю ті стежки не так як ви, а як би мені хто тепер казав іти на Угорщину, то я би розсміявся йому в лице. Се-ж очевидна смерть. По горах тепер ще снігом курить, не то що тут. І не швидко там потепліє. Ні, про се нема що й думати.

— А я таки тут не лишуся! — уперто твердив паняч. — Подумай: зловлять мене тут, то не тільки моя смерть буде, але й татова.

— Ну, се ще хто його знає.

— Не потішай мене, Грицю! Тут не потіхи треба, а доброї ради. Я вже пізнав, що то значить потішати себе пустими словами. Ти мусиш провести мене на Угорщину.

— Се не може бути, говорю вам. За тиждень, за дві неділі, коли сніг по горах ствердне або розтає троха, то ще сяк-так, але тепер, після такої страшної сніговійниці — ані гади.

— Ну, то сховай мене в яке иньше безпечне місце, десь далеко за селом.

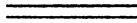
Гриць почав думати.

— Добре, — мовив по хвилі. — Се вже не те, що на Угорщину йти. Се вже можна. Знаєте, заведу вас під саму полонину. Там серед ліса в сіножать над потоком. На тій сіножати в кілька повних оборотів. Там собі угніадите ся і пробудете доки буде можна, а відтам можна буде вернути назад до дому, або й на Угорщину, коли настане ліпша хвиля. Відтам уже недалеко — через полонину та на Бескид, тай границя.

Панич згодив ся. Почали оба міркувати, що й як треба приготувати для сеї дороги. По довшій нараді стало на тім, що завтра Гриць піде до двора ніби то закликати батька до дому, а сам лишить ся в дворі, постарав ся оповісти все старому панови і зажадав від нього для панича стрільби, пістолетів, пороху та набоїв — ану-ж звір у горах наскочить, або й лихі люди — троха грошей, кілька хлібів, сира, масла і що там ще можна буде дістати. Все те треба спакувати в бисаги і аби до вечера

було готове, а вечером, аби ніхто не бачив, Гриць забере все з двора, принесе сюди і смерком оба рушать у гори. А панич весь день пробуде на оборозі, відпочине і покріпить ся для нових невигод.

Як прирадили, так і зробили.



XI.

Два дни і одну ніч Гриця не було дома і ніхто не знав, де він подів ся. Пан пустив його батька з двора на господарство, тим більше, що громадських опікунів йому не було вже потрібно: в дворі були иньші опікуни. Тої самої ночі, майже в ту саму пору по заході сонця, коли Гриць з паничем, прокравши ся загумінками та горі потоком рушив у гори, з протиного боку в село приїхала компанія вояків під проводом офіцера і комісаря від староства з Сянока пана Курцвайля. До староства донесено, що в околиці бачили небезпечного революціонера Нікодима Пшестшельського, що він утік в напрямі до батьківського села; от тим то староство забажало мати його в руках і задля сеї мети вислало в село отсю незвичайну коменду.

Нема що й мовити, що коменда не застала вже панича в селі. Даремно вояки зараз по з бурливих літ.

приході обступили двір, даремно комісар з офіцером, війтом і присяжними перешукував старанно двір і всі двірські будинки не виключаючи й оборогів, стогів сїна, стирт соломи і оденків, — панича не було. Ще більше здивувало пана комісаря те, що хоч і як остро він розпитував старого пана, людей, що вартували коло нього, війта, присяжних і вартових, що днювали й ночували на вулиці, всі вони божили ся і присягали ся, що панича від кількох неділь не бачили на очи, що він поїхав геть і доси не вернув, а де тепер обертаєть ся, сего ніхто не знає. Комісар почав гнівати ся.

— Не може бути! Не може бути! Я маю певну відомість, що він перед двома днями пішки, в хлопським убранку вернув до села.

— Ми його не бачили, — вперто в один голос повторяли селяни.

— Що-ж, хиба-б його де в лісі зьвірі з'їли? — кричав комісар.

— Та якось і про зьвірів тепер не чувати.

— Ну, то він мусить бути в селі! Може хто з селян сховав його. Я мушу дістати його в руки і не вступлю ся з села, поки його не дістану. Війте, завтра скоро сьвіт ідїть, беріть моїх вояків і розвідуйте по селі, чи хто не бачив його, а де би був хоч найменший знак, робіть ревізії, шукайте і мені дайте знати! Я тимчасом квартирую в дворі. А вартові нехай

мені пильнують у ночі, щоб і жива душа не вискочила з села!

Та даремні були всякі пошукування і розпитування в селі: панича ніхто не бачив, ніхто не чув про нього. Аж переходячи попри хату Гната Тимкового, що стояла на високій збочі за потоком, вінт нараз мов догадав ся чогось і перейшовши владку потюнав під гору, поки дійшов на Гнатове обійстя, а ставши коло вікна застукав костуром у варцаб.

— Гей, ви, Гнате! Дома ви? — крикнув.

— Дома, — обізвав ся голос із середини.

— А вийдіть-но, щось вам маю сказати.

Гнат надів кожух і шапку і вийшов із хати.

— Чи дома ваш парубок? — запитав вінт.

Гнат пошкробав ся в голову.

— А на що вам його?

— Та треба. Пришліть мені його сюди.

— Та тяжко буде, пане вийте, — мовив заклопотаний Гнат. — Десь як від учора пішов, так і доси нема.

— Як то нема? А де-ж пішов?

— Та не знаю. Вечером жінка прийшла до мене до двора, каже: ходи, старий, бо десь Гриця нема. Я вже вечером сам і худобу напоїв і їсти подавав, він і не ночував дома.

— Овва! — мовив вїйт. — Де-ж він міг подїти ся?

— Не знаю, пане вїйте, — мовив Гнат. — Ми вже з жінкою журили ся, не знаємо, що й думати.

— А панича тут у вас не було?

— Панича? А хіба-ж панич вернув? Я його не видїв.

Вїйт зацікавлений сею новиною вступив до хати, розпитав Гнатику, далї слугу, — жадна з них не видїла панича, жадна не знала, де міг подїти ся Гриць. Вони обї вчора прями весь день. Гриць пообїдав і пішов кудись — думали, до худоби, та коли над вечір служниця пішла кликати його їсти, побачила, що худоба стоїть голодна, а Гриця нема.

Вїйт подумав хвилию, далї мовить:

— Га, куме Гнате, ходїть зо мною до двора!

Гнат зібрав ся і пішов. По дорозї вїйт оповїв йому про приїзд комісаря і вояків і про пошукування за паничем. Старий Тимків дуже перелякав ся і явив ся перед комісарем з таким заляканим видом, мов не знати який тяжко винуватий. Та комісар був тямущий чоловік. Він швидко побачив, що з сим старим нема що говорити довго, але оповїдане про Гриця зацікавило його. Почав розвїдувати у селян, що се за Гриць і довідав ся таке, що в його

голові відразу блисла думка: ось тут і є правдивий слід. Гриць був найщиріший приятель панича в селі, в остатніх часах його майже невідлучний товариш. Він звичайно їздив з ним до Сянока і по ріжних околичних панах. Та найбільше зацікавило його те, що вчора з дому він щез зараз по полудни, а в дворі бачили його над вечір, уже по відході його батька до дому. Він приходив до батька що день, то й ніхто не звернув на нього уваги і ніхто не тямив, чого він приходив, коли і куди пішов. Усе те зацікавило комісаря і не надумуючи ся довго, він пішов з вояками і купою селян робити ревізію на Гнатове обійстя. Не довго й шукали. До високого, непчатого оборога ще була приставлена драбина, а вилізши по ній зараз знайшли гніздо, де ночував панич, знайшли заритий у сніг його мокрий мазурський одяг; Гнат у коморі не дорахував ся свої гуньки, кучми, кожуха, чобіт і шматя, одним словом, не лишило ся ані найменшого сумніву, що панич справді був у селі і то на Гнатовім оборозі і разом з Грицем у саму пору забрав ся.

Гнат і Гнатиха лиш руками об поли вда-рилнсь. Комісар не знав, що діяти далі. Чи бігти в погоню? Та куди? Чи чекати на місці? На кого? Панич невно не верне, а Гриць? Ану-ж оба вони втекли на Угорщину? Тай що властиво такого страшного зробив панич, щоб

трудити за ним компанію війська по горах і снігах? Комісар пригадав собі точку своєї інструкції — „зібрати відомости про переступну діяльність Нікодима Пшестшельського в його ріднім селі“, і помістивши своїх вояків у дворі, почав „тягти протоколи“ з усіх, починаючи від старого пана, а кінчачи на сільських парубках і дівчатах. Ціле село тремтіло; по хатах голосили жінки, плакали дівчата, люди ходили як потровні. Протоколи під військовою асистенцією в тих часах, то не була така проста і невинна річ, як би могло здавати ся. Як усюди в панщинних порядках, так і тут в роботі були буки; вояки не могли їсти хліба задармо. Кожда найменша суперечність у зізнанях вияснявала ся на лавці під буками. Виянювала ся! Ні, плодила десятки нових суперечностей, тягла нових свідків на ту саму лавку; в міру пролитих сліз і поломаних патиків росла купа записаних (по німецьки!) аркушів паперу, а провина панича Нікодима збільшувала ся від простого підозріння до розмірів злочину державної зради.

Першого дня до пізної ночі тягла ся та інквізиція, тягла ся й другий день. Напаковано повен шпіхлр людей, що з сеї або тої причини видавались комісареві підозреними. Між першими арештованими була Грицева мати, хоч вона кляла ся і божила ся, що панича на своїм обійстю не бачила і нічогісінько не знає.

Арештовано й служницю. Старий Гнат сам один ночував у своїй хаті, коли нараз о півночі хтось злегка застукав до вікна. Се був Гриць.

Батько впустив його до хати, засьвітив, позаслонювавши вперед вікна і зирнув на нього. Гриць був увесь мокрий і присипаний снігом, але при тім спокійний і веселий.

— Де ти був? — спитав батько.

— З паничем, — відповів Гриць.

— А де-ж панич?

— Далеко, може вже на Угорщині.

— Ти відпровадив його?

— Так.

— А він не казав тобі йти з собою на Угорщину?

— Ні! По що мене там? Я допровадив його до гранці.

— Ну, передягай ся-ж живо та обігрій ся! — мовив батько.

— А де-ж мама? Де Маринка?

— Не питай! Передягай ся! Ось тобі шматє. Ти певно голоден?

— А вже-ж голоден.

— Ну, то знайдемо щось повечеряти. Ба-чиш, я нині сам і за господаря і за господиню і за слугу.

Старий рад був, що син вернув. Він не турбував ся тим, що стара і служниця ночують у панськїм шпїхлїрі. Він знав, що вони нічого не винні і що їх пустять. А що буде з Грицем, про се він також не дуже турбував ся. Добре, що він тут, коло нього, що вернув ся.

XII.

Другого дня поспідавши, обійшовши худобу і позамикавши хату, старий Тимків і Гриць пішли до двора. Комісар уже був при роботі, пишучи протоколи. Коли йому донесли, що прийшов старий Тимків з Грицем, він аж підскочив і кинув перо на стіл.

— Ведіть його сюди!

Десятники впровадили Гриця.

— А! — мимоволі вирвалося з уст урядника. Грицева незвичайна врода і смілий, інтелігентний вираз лица зворушили його. Урядник устав і підійшов до парубка.

— Як називаєшся?

— Гриць Тимків.

— Кілько тобі літ?

— Дев'ятнадцять.

— Умієш читати, писати?

— Вмію.

— Хто тебе навчив?

— Мої татуньо.

Комісар пильно вдивляв ся в Грицеве лице. Воно було спокійне. Полонинський вітер ще пашів на ньому здоровим румянцем. Комісар сів на своїм місці, прилагодив собі чистий аркуш паперу, і обертаючи ся до Гриця, мовив :

— Слухай, хлопче, маєш говорити правду про все, що тебе буду питати. Розумієш?

— Розумію.

— Пам'ятай собі: правду, чисту правду! Коли тебе виловлю на однім маковім зеренці неправди, то буде біда! Ти бачив на подвір'ю лавку і купу палиць?

— Бачив.

— Ну, то вважай же!

І комісар похилив ся над папером і розмахнувши ся написав титул, номер і вступну формулу протоколу.

— Ти знаєш панича Нікодима?

— Знаю.

— Товаришував з ним?

— Та... панич любив мене...

— Намовляв він тебе на що зле?

— Ні.

— А против цісарських урядників?

— Говорив.

— Що говорив?

— Говорив, що вони кривдять нарід, що їх би треба повиганяти з краю.

— Ага! — заскреготав комісар. — Повиганяти! А хто-ж то мав їх виганяти?

— Не знаю. Він говорив, що є вже такі люди, що змовили ся на те.

— Ага! Змовили ся! А тебе не кликав, аби й ти пристав до тих людей?

— Ні.

Комісар перервав допити і похиливши ся над папером, записав Грицеві зізнання. Потім заложивши перо за вухо і вперши в Гриця очи, запитав :

— Ну, а де-ж він тепер, той твій панич?

— Не знаю.

— Не знаєш? Хлопче, говори правду!

— Не знаю, прошу пана. Я вчора рано лишив його на угорській границі. Думаю, що нині він уже десь на Угорщині.

— Що-ж ти робив на угорській границі, що ти там його бачив?

— Я відпровадив його.

— Відпровадив? Відки?

— А відси, від нас.

— Ага, то він був у вас?

— Так, був.

І Гриць коротко розповів про свою стрічу з паничем на оборозі.

— А відки-ж він узяв ся у вас на оборозі?

— Прийшов.

— Та то певно, що не прилетів, але відки?

— Не знаю.

— І чому-ж власне до вас? Чому не йшов до дому, до двора?

— Ввидно бояв ся, а може думав, що двір спалений так як по інших селах. А про нас знав, що його не зрадімо.

— Ага, не зрадите! А знавш ти, що твій обовязок був зараз, скоро побачив його на оборозі, завітідомити про нього війта?

— Мій обовязок? Сего не знаю! Панич не злодій і не розбійник, нічого злого не зробив, не приблуда ніякий.

— Але бунтівник! Против цісарського уряду виступав! — люто крикнув комісар, тупаючи ногою.

Гриць замовк. Комісар писав, аж перо скрипіло, літаючи по сірім, бібулястим папері. По добрій хвилі почали ся дальші допити.

— А ти нікому не говорив, що панич на вашім оборозі?

— Нікому.

— Анї татови, анї мамі, анї служниці?

— Нікому.

— Анї старому панови? Говори по правді!

Гриць поблід і якось змішав ся, та по хвилі твердо промовив:

— Ні.

— Бреше, се видно по нїм, — подумав комісар, та не сказав нічого. Він і так уже мав тверду постанову, що зробити зі старим паном.

— Куди-ж ти запровадив панича?

— На угорську границю.

— В котрім місці?

— Не можу сказати.

— Якою дорогою ви йшли?

— Не можу сказати.

— Ага! Не можеш сказати! Значить, се не правда! Ти сховав його десь тут недалеко.

— Ні, пане комісарю, я завів його — —

— Не бреш! — крикнув комісар. — Ви вийшли відси позавчора вечір, а до угорської границі відси сім миль. Хоч би ви йшли ніч і день і ще ніч, то тепер, по снігах, ви не зайшли би туди.

— А таки зайшли, пане комісарю, — спокійно запевняв Гриць.

— Хлопче, не доводи мене до гніву! — кричав комісар. — Скажи по правді, де ти дів панича?

— Кажу по правді.

— Брешеш! Виджу по тобі, що брешеш. І говорю тобі, що се тобі ні на що не придасться. Не хочеш добровільно сказати, то скажеш на лавці.

— Не скажу инакше, пане! Хоч мене бийте, хоч забийте, а инакше не скажу.

— Так? Ну, побачимо! Геї там! Сюди!
На крик комісара ввійшли десятники.

— Беріть його! На лавку. Два вояки нехай бють. Я там зараз вийду.

Гриця повели, а пан комісар сів писати протокол. Він силкував ся писати спокійно, та се не вдало ся йому. Рука дрожала, перо було непослушне, думки не йшли, слова не вязали ся одно з одним. Ухом він ловив гуки, які доходили з надвору, та довгу хвилю не було чути нічого, крім невизначного шуму і стукоту людських кроків у сїнях. Щось так і тягло його встати і заглянути в вікно, та він переміг себе. Ні, нема чого дивити ся! Запираючи в собі дух, він у мішанім шумі дочув ся мірного лускоту, мов пари цїпів, що молотили десь далеко-далеко. Се був шелест здавна привичний для нього, але звичайно його заглушували иньші тони — несвітський крик і лемент катованого чоловіка. Та сим разом крику не було чути, тільки лускіт палиць доносив ся чим раз виразнійше, немов усе в дворі, і люди і вітер і вохкий сніг під ногами і кури на подвірю, все, все притаїло в собі дух, затихло при тій страшній сцені.

Комісареви зробило ся недобре. Щось стисло його за серце. Він закусив зуби, нетерпливо ждав першого крику катованого хлопця, щоб вийти на двір і закінчити його муку, а тепер, коли крику не було чути, не знав, що

зробити з собою. Якась фальшива амбіція не дозволяла йому виходити; йому здавало ся, що зупинити бійку, коли битий не кричить і не плаче, значило би подати ся перед ним, понизити себе. А з другого боку той ненастанний, мірний стук, що тепер мішаючи ся з тривожним стуканем його серця, дуднів в його ушах і жилах, мов удари важких молотів! Він не міг сидіти на місці, не міг стояти, рвав ся кудись, судорожно стискаючи одну свою руку другою.

В тій хвилі прожогом відчинили ся двері і бліді, розхрістані влетіли обоє старі Тимкові і бухнули комісареві до ніг.

— Паночку! Лебедичку! — голосила стара Тимкова. — Змилуйте ся! Вони забють його на смерть! А може вже й забили! Ой, Божечку, Божечку! Моя дитина! Пане! Моя дитина! Що вона вам зробила?

— Пане, він лежить як дерево! Він зомлів, а може вже неживий! — простогнав батько. — Він від коли живе, не мав прута на своїм тілі.

— А чому правди не говорить? — крикнув комісар і вибіг на подвірє.

— Halt! Genug! — крикнув він воякам, що поломавши на Грицевім тілі пару патиків власне взяли до рук другу пару і били без тям, без милосердя, як дві добре заведені машини. Десятники як дві колоди сиділи один на голові, другий на ногах нещасного парубка.

На крик комісаря вояки перестали бити, а десятники повставали. Батько й мати прискочили до нерухомого, кровю облитого Гриця.

— Неживий! Боже мій! Неживий! — скрикнула мати, підводячи його голову. Грицеве лице було синє, зуби впили ся в долішню губу так міцно, що зпід них капала кров, руки оціплені судорогою були холодні мов у мерця.

Комісар силкуючи ся бути спокійним підійшов ближше, встромив свою руку за пазуху парубка і подержавши її на його серці, промовив холодно :

— Живий. Зомлів. Відітріть його! А потім приведіть до мене.

І не мовлячи нічого більше, обернув ся і пішов до двора.

Минула добра година, поки Гриця відтерли і поки він на стілько прийшов до себе, що міг рушити ся з місця. Сам іти він не здужав; батько й мати, обливаючи ся слізмами, провадили його попід руки як малу, немічну дитину. Гриць був блідий-блідий, очи без блиску, на посинілих губах видно ще було сліди крові. Комісар зирнув на нього і зараз похилив очи на свої папери.

— Ну, знаєш тепер, що значить брехати? — мовив він. — Скажеш тепер правду?

Гриць мовчав.

— Скажеш, де панич?

Гриць мовчав.

— Хлопче! Не доводи мене до гніву! Я мушу знати, де він є! Я мушу мати його в руках.

— Таточку, — слабым голосом мовив Гриць, — ведіть мене на подвір'я. Ляжу на лавку і нехай мене б'ють на смерть. Я більше не скажу ані слова.

Комісар з виразом німої розпуки глянув на Гриця. Його бюрократична душа не могла зворушити ся героїзмом сего простого сільського парубка, він бачив тільки його впертість, непослух і злочинне завзяте.

— Так ти говориш? — мовив він. — Добре! То й я тобі иньшої засьпіваю! Геї, там! — крикнув він на десятників.

Десятники ввійшли.

— Маєте його пильнувати. Він поїде зо мною до міста.

Грицева мати заломала руки.

— Ой, горенько мое! Пропала наша дитина! Ой, синочку мій!...

— Мовчи, стара! — скрикнув комісар. — Ідіть до дому і принесіть йому що треба до дороги. Ми ще нині їдемо.

— Пане, куди ви його везете? Адже-ж бачите, він ледво живий.

— То мені все одно. Арештую його, коли не хоче сказати правди. А вмере по дорозі, то я не буду тому винен. Я його остерігав.

В тій хвилі ввійшов у комнату старий пан.

— Пане комісарю, — мовив він поважно. — Я був свідком того, що робило ся нині і вчора на моім подвір'ю. Памятайте, я постараю ся, щоби про се знали не тільки в Сяноці, але також у Львові.

Губи комісаря поблідли і затремтіли.

— Herr Schlachziz! — мовив він, здержуючи свою злість. — Я власне хочу вам дати нагоду до виявленя правди. Поїдете зо мною до Сянока. Кажіть зладити сани для себе і отсего парубка.

— Як то? Арештуєте мене?

— А так.

— Добре. Я того й хотів. А ви, люди добрі, — мовив обертаючи ся до Гната і його жінки, — ідіть і прилагодьте для свого сина, що треба для дороги. Не бійте ся! За те, що він зробив для мого сина, що витерпів за нього, я буду памятати його і вас. Ідіть і не журіть ся. Бог допоможе нам перебути сю лиху годину.

По обіді того дня комісар з вояками рушив із села. Серед компанії вояків їхали прости сани запряжені парою коний, а на них сковані кайданами за ноги і пообтулювані панською бараницею сиділи в парі пан Пшестшель-

ський і Гриць. Обік візника сидів пан комісар. Їхали мовчки, тільки вітер глухо стогнав у смеркових борах віщуючи близьку відлигу, і коні порскали потіючи та бродячи в глибокім снігу.

По двох тижнях ті самі сани вертали назад у село, везучи самого пана. Його подержав комісар у арешті, доки міг, та коли врешті передано його судови, сей по першим переслуханю випустив його на волю.

Грицеві не довело ся вернути. Його просто завезли до військового шпиталю, а коли подужав від палиць, його на розказ політичної власти поставлено перед поборовою комісією і віддано в рекрути. Обсипали ся розкішні Грицеві кучері під капральськими ножицями і не було кому оплакати їх. Родичі аж через пана дізнали ся про долю, яка зустріла їх одинака. Даремно батько поїхав до Сянока, кидав ся з канцелярії до канцелярії, від одного пана до другого, даремно писав супліки і до генеральної коменди у Львові і до губернії і до самого цісаря. Гриць був відданий до війська „за політичне“, а для таких не було в ту пору жадної полекші, жадного милосердя.

А паняч пропав без вісти, як камінь у воду. Може його батько й мав коли про нього яку звістку, але не звірював ся з нею нікому. Помалу втихла страшна буря, що розбурхала тихе від віків сільське житє в те памятне пу-

щане. Все пішло по давньому, тільки Гриців батько не робив уже панщини, хіба десь колись з доброї волі в горячі роботи виходив на панське до помочи. Про сина згадував як про покійника і не надіяв ся вже побачити його.



ХІІІ.

Минули два роки.

Був гарячий літній день. Над Львовом на заході висіла чорна хмара, а сонце зсуваючи ся з полудня золотило її береги. Здалека чути було гуркіт грому. На львівських вулицях було душно. Фіякри гуркотіли піднімаючи за собою хмари куряви. Прохожі шукали тіни, холоду. Та про те по вулицях снувало багато людей. Від ринку несли ся голосні крики, на одваху чути було гуркіт барабанів, по пляцу Конституції (тепер Маріяцкім) з диким вереском бігла юрба вуличників.

— Niech żyje Polska! Niech żyje Polska!
— верещали вони, граючи на носі перед поліціантом, що силкував ся втихомирити їх.

— Не вільно кричати! Розходіть ся! —
не то кричав, не то благав поліціант.

— Як то не вільно! Конституція! Тобі не вільно, а нам вільно! Niech żyje Polska! —

сипали ся окрики з юрби, до котрої приста-
вало щораз більше перехожих.

Від ратуша надсунула нова юрба, зло-
жена з старших, поважних людей, та й ті
були всі мов п'яні, мов самі не свої — капе-
люхи на бакир, руками розмахували, не то
говорили голосно, а не то кричали.

— Niech żyje Dylewski! Hurra Dylewski!
Nasz poseł Dylewski!

Се був день вибору посла з міста Львова
до конституційного сейму, що мав зібратися
у Відні. Вибраний послом молодий адвокат
Дилевський був звісний як чоловік дуже здіб-
ний і горячий польський патриот.

— Гурра! Гурра! Niech żyje Polska!
Niech żyje Dylewski! — заревла ціла юрба. —
Далі! Перед дім Дилевського!

Величезна купа народа звернула на ву-
лицю Коперніка, а відси на вулицю Оссолін-
ських, де жив новий вибранець народа в неве-
личкім партеровім домику. В одній хвилі ма-
леньке подвір'я перед домиком заповнила юрба,
поломала штахети, потоптала цвітник, і знаку
не лишила з грядок, оглушуючи при тім цілу
околицю окриками „гурра“, гомоном піснї
„Jeszcze Polska nie zginęła“ і прокляттями на
Меттерніха, Стадіона, бюрократів, шпїонів
і Св'ятоюрців.

Але героя сеї овації не було дома. Дові-
давши ся про се юрба почала розходити ся,

не попускаючи свого ентузіастичного настрою, коли нараз на кінці вулиці Оссолінських, саме там, де підіймаєть ся в гору вузьенька Цитадельна вулиця, счинив ся крик:

— Łaraj go! Trzymaj! Bij szelmę! Łaraj! Łaraj!

Всіх очи обернули ся в той бік, відки йшов крик. Ті, що стояли на краю юрби, могли бачити, як якийсь високий, уже шпаковатий чоловік, в куцім чорнім убраню і білім циліндрі, зігнувши ся в дві погібелі силкував ся вирвати ся з рук цілої купи вуличних лобурів, підростків та термінаторів, що почіплявши ся за його сурдут, за руки та ноги, мотлошпили ся довкола нього і кричали що сили:

— Trzymać go! Nie puścić go! To szelma! Szpieg!

— Хто се такий? Хто се? — запитав один панок, підбігаючи до сеї незвичайної групи.

— То Курцвайль! Курцвайль! — закричали вуличники.

— А, Курцвайль! Бувший комісар! — крикнув панок і не думаючи довго заїхав придержаного по пиці так, що йому злетів циліндер.

Його приклад був як зараза. Вся юрба кинула ся бігти на те місце.

— Курцвайль! Курцвайль! Собака!
Шпіон! А бийте його! Рвіть! На шматки
його!

— Панове! Панове! — пищав присідаючи
до землі заатакований з усіх боків бувший ко-
місар. Та панок, що перший збив йому цилін-
дер з голови, вже хопив його за довгі бакен-
барди обома руками і шарпнувши що сили під-
тягнув до гори.

— Пізнавш мене, собако? — крикнув він.

— Ах, пан Нікодим! Пан Пшестшель-
ський! *Uniżony sługa pana dobrodzieja! Aber
ich bitte Sie, lieber Herr, was wollen Sie von
mir?*

Дальшу конверсацію перервав цілий град
стусанів та кляпсів, що посилав ся на голову
і плечі Курцвайля.

— Бийте його! Бийте собаку! — ревіла
юрба, а діточі голоси завищали проразливо
насьмішливу сьпіванку, передразнюючи німець-
кий виговір:

*Póki Stadion we Lwow był,
Póty Kurzweil dobrze żył;
Stadion siadal na woza,
Machaj Kurzweil do koza!*

Нещасливий комісар, котрого Нікодим
усе ще держав за бакенбарди не даючи йому
причякнути до землі, а котрого били і штур-
кали з усіх боків, з болю і з розпуки заричав
не своїм голосом. Розжерта юрба відповіла

диким реготом. Та в тій хвилі від Цитадельної вулиці почув ся мірний гуркіт і брязкіт. Се з цитаделі йшли дві компанії вояків і рушили просто в середину юрби.

— Halt! Розходіть ся! — крикнув офіцер поступаючи наперед з голою шаблею.

Юрба мов і не чула. Крик Курцвайля в середині не втихав.

— Weg da! — ревноу офіцер і обертаючи ся до вояків закомендував:

— Gewehr in die Balanz!

Блисли до сонця багнети, брязнули карабіни і раптом лава вояків наставила перед себе сталеву щітину. Юрба розкочила ся мов опарена. Тільки насеред вулиці лишили ся два чоловіки в незвичайній поставі: Нікодим Пше-стшельський, посатанілий зі злости, все ще не випускав комісаревих бакенбардів і торгав їх затопивши в них свої пальці, а Курцвайль стояв перед ним зі зложеними руками, пищачи мов дотина з болю і страху.

— Halt! Loslassen! — крикнув офіцер до Нікодима.

Сей витріщив на нього очи, мов і не розуміючи, хто і що до нього говорить.

— Се якийсь божевільний! — буркнув по німецьки офіцер. — Хлопці, — додав по руськи, — а скочте-но два вас і розірвіть їх обох.

Один із тих вояків, що скочили розривати счіплених панів, зареготав ся, а другий сплеснув в долоні.

— Се-ж наш панич, Осипе! — скрикнув Гриць.

— А се той самий комісар, що катував тебе! — додав Осип.

— Паничу, пізнаєте мене? — промовив Гриць, злегка віднимаючи Нікодимові руки від комісарського лиця. Та хоч як злегка він відняв їх, половина волося з прекрас комісарської фізіономії таки лишила ся в паничевих руках.

Офіцер підійшов до Нікодима.

— Herr, Sie sind verhaftet. Folgen Sie mir auf die Hauptwache.

Курцвайль підбіг до офіцера і почав притишеним голосом говорити йому щось по німецьки. Офіцер відвернув ся.

— Schon gut! Folgen Sie mir auch.

Та Нікодим уже отямив ся і запротестував.

— Арештуєте мене? — кричав він. — Яким правом?

— Ви робили галабурду на вулиці, — спокійно відповів офіцер.

— Не я, але отсей поганець!

— Schon gut! Там побачимо.

— Ні, не побачимо! Не діждете бачити мене там.

— Негг! — скрикнув офіцер. Та в тій хвилі надійшов відділ гвардії народової. Комендант відділу салютував перед офіцером, а сей був рад позбути ся клопоту і віддав йому Нікодима і Курцвайля для дальшого урядованя. Військо пішло в один бік, а гвардия з обома арештантами в другий. Їх завели до ратуша. Розуміть ся, що Нікодима, свого чоловіка, зараз пустили на волю, а з Курцвайлем списали протокол і по добрій годині, коли дощ лив як з ведра, його випустили. Не обійшло ся й без того, щоби в темнім ратушевім коридорі деякі патріотичні гвардяки не дали йому на прощанє пару порядних стусанів по плечах та по карку.

XIV.

Кілька день після сеї незвичайної стрічі Гриць маючи вільний вихід ішов вулицею, коли нараз напротив себе побачив панича. Сей поспішав кудись і навіть не зирнув на нього.

— Паничу! — окликнув його Гриць.

Нікодим обернув ся, зирнув і зараз пізнав його.

— Грицю! — скрикнув він радісно і стиснув руку воякову. — От іще з мене сліпак! Іду тай не бачу. Ну, якже ся маєш? Давно у Львові?

— Спасибі! Маю ся не зле. У Львові отсе другий місяць, а доси були в Голомуці.

— Та що ми тут на вулиці стоїмо і балакаємо? — похопив ся панич. — Ти маєш годинку вільного часу?

— Маю.

— Ну, добре, то ходи до мене до хати, побалакаємо.

Нікодим Пшестшельський жив у невеличкій кавалерській квартирі на Сикстуській вулиці. Сальоник і спальня — отсе було все його поміщенє. Харчував ся в реставрації, та й загалом, бовтаючи ся повисше вух у вирі тодішнього політичного житя, він рідко коли бував дома, часто навіть ночував де инде, вічно бігав, агітував, демонстрував, організував, провадив горячкове житє, ненастанно готовий до виїзду не знати куди і по що і день поза день відкладаючи той виїзд, не знати для чого. Здавало ся, що він кожної хвилі жде чогось несподіваного і конче бажає бути при тїм, де і коли станеть ся воно. Бурливий 1848 рік богато людей, особливо горячих уже з природи, кинув у таку ненастанну горячку, і нею виясняєть ся величезна сила епізодів та подій, що стали ся тоді не під впливом розваги і постанови, але так якось негадано, були неначе мимовільними вибухами загального горячкового настрою. Гриць пильно придивляв ся паничеви і дивував ся. Панич сильно постарів ся за ті два літа, похудїв, посивїв, щоки запали ся, тільки очи горїли мов два вуглі, а рухи зробили ся наглі, прудкі, непевні та уривані, немов усе, що він робив і говорив, діяло ся прихапцем, в поспіху, в горячковім ожданю чогось далеко більшого і важнійшого.

— Ну, ось ми й у себе! Сїдай, Грицю! Розгости ся у мене. Побалакаємо.

Гриць сів, а панич неспокійно ходив по кімнаті, виглядав у вікно, то знов немов шукав чогось у шуфляді.

— Ну, розповідж дещо! Як тобі живеться, Грицю?

— Та що мені. От як то наша вояцька служба. День поза день однаково. От ви розповіджете, що з вами було? Як жили ті два літа? Коли вернули з Угорщини?

— А! Як жив? Бідував досить. Ну, а вернув, скоро тут засвітало.

— А що-ж тут порабляєте у Львові?

— Вітчину будуємо, — з усміхом, але при тім горячо промовив панич.

— Вітчину? Та яку?

— Ну, звісно яку: нашу, польську. Робимо те, що нам ворожі руки не дали зробити перед двома роками.

— Не зовсім вас розумію, — мовив звільна Гриць. — Чого-ж ви тепер добиваєтеся? Панщини вже нема —

— Е, що там панщина!

— Як то що? Се-ж найбільше лихо, проти котрого ви хотіли бороти ся тоді.

— А уряд зробив собі з нього молота і хоче нас бухнути ним по голові. З давнього великого лиха зробило ся ще більше.

— Ге розумію вас, паничу.

— Як не розумієш? Ми хотіли знести панщину самі і тим потягнути весь народ за

собою, а уряд сам скасував її і бунтує народ проти нас.

— А так! Ви хотіли зняти з нас ярмо, щоб заложити на нас шлії.

— Дурний ти, Грицю, як я бачу, — не-терпляче буркнув панич і пустив ся знов ходити по покою. Оба мовчали хвилию. Грицеви було якось прикро і сумно на душі.

— Та вже видно, що дурний, — мовив він, — коли не розумію, що робить ся перед моїми очима. Мені здасть ся, що тепер, коли панщини нема, Німець не панує над вами, ви повинні би тішити ся, а ви тепер чимсь турбуєте ся, бігаєте, побиваєте ся гірше, як перед двома роками.

— Бо тепер ми ближше ціли, — з таємничим притиском промовив Нікодим.

— Якої ціли?

— Слухай, Грицю, — промовив нараз зміненним голосом Нікодим, зупинивши ся перед Грицем і беручи його обі руки в свої долоні. — Я знаю, ти добрий хлопець... Знаю, що витерпів за мене.. Я повинен би тобі сказати все по правді і певно сказав би, як би не отсей твій мундур.

— Мундур? — зачудувано мовив Гриць.

— А так, мундур накладає обовязки. Значить, ліпше буде на тепер... Зажди ще троха, сам побачиш, до чого воно дійде, то й не буде треба тобі говорити.

Гриць не допитував далі. Почали говорити про иньші річи, про рідне село, про батьків. Панич мав учора лист від старого пана, Гриць також недавно отримав лист від свого батька. Старий пан нарікав на лихі часи, а Гриців батько радував ся і тільки одного жалував, що в таку сьвітлу пору нема при ньому любого сина.

— А довго ви сиділи там на оборозі тоді, як я вас лишив? — запитав Гриць.

— Ат, і не говори! — неохоче мовив панич, зайнятий очевидно иньшими думками. — Сидів, поки хліба всього не з'їв, поки не потепліло троха. Ледво живий перебрав ся через Бескид. У Бардийові лежав хорий цілий місяць після того, що перебув у ті часи.

Розмова не йшла в лад. Гриць устав і почав прощати ся.

— Ідеш уже? — яось сумно мовив панич.

— Та треба йти.

— А заходь до мене частійше! Не гнівай ся, що сьгодні так тебе холодно приняв. У мене тисячі клопотів на голові. Колись розповім тобі. Ну, бувай здоров! Як мати-мещ вільний час, то приходи. Найліпше отак по обіді, то можеш мене застати дома.

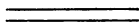
Гриць сказав, що власне по обіді він ніколи не має виходу, хиба в неділю.

— Добре! Заходи в неділю. Буду тебе дожидати! Заходи!

— Прийду, паничу.

— Але напевно! Памятай, я жду!

Паничеве лице прояснило ся. Видно, якась нова думка стрілила йому до голови і він сердечно стиснув Грицеву руку на прощаня.



XV.

В неділю Гриць застав у панича цілу купу панів. При столі, заставленім полумисками повними накраяної шинки, ковбас та холодної телятини, тарелями, склянками і чарками сиділи серед голосної розмови, сьміхів і жартів різні люди, молодші й старші, в цивільних одягах і гвардійських мундурах. Гриць зразу подав ся назад і хотів іти геть, та панич вибіг за ним.

— Ні, ні, Грицю, не бій ся, ходи сюди! Ми тут чекаємо на тебе. Пани хочуть бачити тебе.

— Що се за пани? — шепнув Гриць.

— То наші. Потому розповім тобі. Ходи!

І взявши Гриця попід руку, як дівчину до танцю, Нікодим попровадив його до кімнати, де сиділо товариство.

— Мої панове, — мовив він голосно, — се той парубок, про котрого я розповідав вам.

— А, браво, браво! Давай його сюди!
Ану, хлопче, дай руку!

І багато панів, особливо молодших, повставало з крісел. Вони обступили Гриця, стискали його руки, любуючи ся його заклопотанем, що густим румянцем розлило ся по його лиці. Тільки один пан, що сидів на почеснім місці кінець стола, не рушив ся з місця і злегка прижмуривши очи, дивив ся на Гриця. Нікодим попровадив його до того пана, котрого тут усі вважали найважнішою особою.

— Генерале! — мовив Нікодим, клонячи голову перед тим паном, — отсе мій сільський адлятус, товариш у конспіраційній роботі, хлопець, що з незрівнаним героїством витерпів важку кару, а не зрадив мене.

— Нм, ładny chłopiec! — якось цинічно моргаючи буркнув генерал. — Придав ся-б і до иньшого рода конспірації, а?

Гриць не розумів гаразд промови панича анї генерала, та з слів і моргань обох тих панів дихнуло на нього чимсь неприємним, немов тим горячим, затровним духом, що йде від затхлого багна. Він уже на стілько освоїв ся, що досить певними очима, по військовому придивляв ся тому, кого звали генералом. Сказавши правду, нічогісінько генеральського не було в його непочесній фігурі. Поперед усього фігура була не в військовім мундурі, а в звичайнім, досить зашастанім цивільнім убраню.

А по друге — лице! Се було лице трупа, огидливе, жовте, аж зеленковате, з блідими губами, без крапельки крові, без виразу, аж страшно своєю мертвою і бридкістю. Хоч волосе на голові вже геть було шпаковате, на лиці генерала не було ніякого заросту і се надало йому ще огидливіший вираз. Тільки очи чорні, невеликі та блискучі бігали живо і, бачилось, пронизували чоловіка, вгризали ся в тіло і в душу, та в них грав вираз такої безсердечної холодности, такої погорди до людей і такої безстыдности, що вони робили більше вражінє очий їдовитої гадюки, ніж чоловіка. У Гриця дрож пробігла по всім тілі, коли його очи зустріли ся з поглядом сього генерала. Він не міг видержати сього погляду і похилив очи з таким чутєм, немов би його впечено в саму душу.

Тимчасом Нікодим запрезентувавши Гриця ще одному високому, статному панови з великими сивими вусами, в гвардійськїм мундурі, котрого він величав полковником, запровадив свойого гостя на другий кінець стола, де сиділа молодіж, посадив його і сам сїв коло нього. Він заопікував ся заклопотаним хлопцем, наклав йому в тарілку м'ясива, налив у чарку вина і припрошував дуже сердечно. В його голосі чути було давню щирість, що так подобала ся Грицеви ще в селі. Загалом Гриць завважив, що сьгодні панич спокійній-

ший, ніж був перед кількома днями, говорять весело, навіть жартує, і чув себе як дома. І інші молоді паничі, що сиділи близько нього, були для нього дуже чемні, припрошували його, аби їв, стукали ся з ним чарками і пили на його здоров'я. Тільки підвівши очи і зирнувши просто здовж стола, Гриць побачив вперті в нього гадючі очи генерала і знов почув, як мурашки забігали у нього за плечима.

— Що се за генерал такий у вас? — запитав він шептом панича.

— О, се славний чоловік! — шептав Нікодим. — Знаменитий чоловік, великий вояк. Се генерал Йосиф Бем! Запам'ятай собі його ім'я. В ньому наша головна надія.

Гриць не чував нічого про Бема, то й не міг розуміти гаразд паничевої радості. Він пробував здалека уважно придивляти ся знаменитому генералови, але не міг, бо генерал майже не зводив із нього своїх очий, а Гриць не міг видержати його погляду.

Поки гості їли й пили, розмова йшла гуртова, голосна і безладна. Та коли поїли все, що було на столі, Нікодим поналивав усім чарки, генерал добув із кишені срібну табакерку і задзвонив об неї ножем. У кімнаті зробило ся тихо і генерал дав слово господареві дому Нікодимови. Сей говорив коротко, подякував гостям, що прийшли до нього, подякував особливо генералови і випив за здо-

ровле гостей. По нїм промовив полковник, головний комендант народової гвардії. Подякувавши господареві за гостину, він звів бесїду на Гриця, величав його як героя з під сїльської стріхи, як надїю кращої будучини.

— Доки серед нашого люду є такі золоті серця, така вірність, така любов до своїх панів, доти смїло можемо голосити цілому світові: *Jeszcze Polska nie zginęła!*

Сї слова повторили всі присутні з великим запалом, а деякі кинули ся знов обіймати і цілувати Гриця. Та ось генерал знов задзвонив, а полковник провадив далї свою перервану промову. Він підніс думку — зробити сьому сердечному братови-селянинови невеличку памятку, аби міг згадувати нинішній день, і вложити для нього що хто може. Всї прийняли сю думку з неменшим запалом, полковник узяв свою гвардійську шапку і сам пішов збирати датки. Та обивателї очевидно були не при грошах, датки сипали ся скупно і коли складка була скінчена, полковник почав щось шептати ся з Нікодимом. Зібрано грошей так мало, що стид було давати їх Грицеві, що весь той час сидїв мов на терню і не знав, де подїти ся з клопотаня. Нарада тягла ся досить довго. Покликано до неї ще кількох панів із товариства і порозумївши ся з ними полковник велїв учасникам позабирати собі назад, що хто дав, а сам ніби іменем цілого товари-

ства дав Грицеві гарний золотий перстїнь з блискучим червоним камінцем, що був у нього на пальці.

— Носи його, сину, на пам'ятку нинішнього дня! — мовив старий вояк, — на пам'ятку тих щирих приятелїв, яких ти нинї знайшов у всїх нас.

Гриць не знав, що йому робити. Він був постановив собі не брати грошей, — перстень якось не випадало не брати. Уриваними словами він подякував за честь і за дарунок, та шептом висловив паничеві своє побоюванє: ану-ж побачивши у нього такий дорогий перстїнь скажуть, що він украв його.

— На се є рада, — мовив панич, — дамо на внутрішнім боці перстень вирити твоє ім'я і прозвище, а тоді носи його безпечно.

Коли настав який-такий спокій після сього епіводу, промовив генерал. Його голос був сухий, урваний, мов удари пальцею по дошці.

— *Glupstwo to!* Говорімо про головне! На скільки ви готові до повстаня?

Нїхто не вмів гаразд відповісти на се питанє. По досить довгій і прикрій мовчанці полковник почав вичислювати генералови відділи гвардії у Львові і по провінціальних містах, та генерал скривив ся і перервав йому мову.

— *Glupstwo to!* Ваша гвардия не варта фунта ключа. Маєте гармати?

Полковник здвигнув раменами.

— Гармати то ґрунт, — стукав своїм деревляним голосом генерал. — Поставлю дві гармати на Високім замку, а дві на платформі коло церкви св. Юра і маємо весь Львів у руках. Гармати мусимо дістати до рук. Гей, ти! — скрикнув він нараз обертаючи ся до Гриця, — ти, Грицю! Сюди!

Гриць підняв ся з місця, військовим кроком підійшов до генерала і станув перед ним по військовому.

— Кілько маєте гармат на цитаделі?

— Не знаю, пане генерале. Я при піхоті.

— Мусиш дізнати ся і донести мені за тиждень, розумієш? Сідай на своє місце.

Гриць відійшов і сів.

— Отсе не ґвардия, — півголосом промовив генерал до полковника. — Таких Гриців мусимо мати хоч кілька компаній. Зроблено заходи, щоб їх притягнути на наш бік?

Полковник здвигнув раменами.

— Не знаю, генерале. Се не моя річ. Я маю досить праці з ґвардією, щоб яко-тако приготувати її. На військо я не маю впливу.

— А хто має?

— Не знаю, здасть ся пан Нікодим.

— Diable! — крикнув розсерджений генерал. — Полковнику, коли-б я був комендантом і ви дали-б мені таку відповідь, я велів

би вас розстріляти. Ви комендант, ви повинні все знати, всім кермувати.

І обертаючи ся до папа Нікодима, він крикнув:

— Пане Нікодим!

Сей підбіг і став перед генералом.

— Як стоїть справа з військом? Кілько маєте запевнених?

Нікодим увесь почервонів і пару хвиль даремно силкував ся сказати слово.

— Поки що... поки що... я навязав зносини — —

І він похилив ся і сказав генералови щось шептом.

— *Glupstwo to!* — буркнув гнівно генерал. — Наша справа чиста і ясна, не повинна бояти ся денного сьвітла. Просто до ціли, то моя девіза. Гей ти, Грицю, — крикнув він обертаючи ся до Гриця. — Сюди!

Гриць сидів мов оголомшений. Він почав розуміти, про що тут іде річ. Щось холодне стисло його за серце, та швидко він переміг себе і загартував своє серце тою самою рішучістю, що була в ньому тоді, коли комісар віддав його воякам на катовань. Почувши голос генерала, до котрого тепер виразно чув якесь вороже успособленє, він підняв ся з місця і підійшов до нього.

— Ти знаєш, про що тут іде річ?

— Знаю.

— Ну, про що?

— Хочете панове робити повстанє.

— А що-ж ти на се?

— Не знаю, проти кого воно має бути і чого хочете добивати ся.

— Хочемо мати свою, незалежну Польщу і відірвати ся від австрійського цїсаря. Що ти на се?

— Пане генерале, я ~~австрійський~~ австрійський вояк і присягав цїсарю на вірність.

— *Glupstwo to!* Як відірвемо ся, то присягнеш на вірність польському королеви.

— Пане генерале, я Русин і Польщі добивати ся не хочу.

— Со? Со? Со?

Генерал мов вухам своїм не вірив.

— Ти Русин? Що се значить?

— Ви Поляки — для вас Поляк те саме значить, що для мене Русин.

— Со? Со? Со? — загуло ціле товариство.

— Але-ж хлопче! — скрикнув добродушно полковник. — *Polak a Rusin, to wszystko jedno.*

— Русини, то тільки часть польського народа, — гукав хтось із товариства.

— То якісь сьвятоюрці набалакали йому дурницю.

— Польща, то наша спільна мати, Русинів і Поляків.

— Як може Русин не хотіти Польщі? То так як би хто не любив свого власного життя.

— Głupstwo to! — грізно крикнув генерал. — Tu niema żadnych Rusinów! Підеш з нами?

— Ні, пане генерале.

— Ні?

Сеї відповіді генерал ~~забув~~ ~~не~~ надіяв ся. Він з виразом дикого гніву зирнув на Гриця, а потім на Нікодима.

— Пане Нікодиме, — мовив він сухо. — Як би я мав у руках коменду, а ви запросили-б мені на довірочну нараду чоловіка неприхильного нам, я-б на місці велів розстріляти вас і його.

— Але-ж генерале, Гриць не в наш ворог! — звиняв ся Нікодим. — Він чесна душа. Він піде з нами, я певний.

— Ні, пане, — мовив твердо Гриць. — Не майте тої надії. Я не піду з вами. Я цїсареві присягав.

— Але з мусу, Грицю!

— Що-ж робити! А присяги треба додержати.

— Ми знайдемо такого, що тебе звільнить від неї.

— Хоч і так, але вам я не присягну ніколи.

Все товариство стояло при сих словах, мов само не своє. Всім було ніяково, прикро. Тільки генерал не зводив своїх блискучих очей із Гриця.

— Дай руку, хлопче! — промовив він, перериваючи неприємну мовчанку.

— Ні, пане генерале, — не можу.

— Не бійся! Дай руку. Люблю тебе за отвертість і щирість. Так і слід поступати воєковн. Ми тебе силувати не будемо. Іди собі. А про се, що тут чув і бачив — ані слова! Розумієш? Скоро що писнеш, памятай, ми все будемо знати і тоді смерть твоя. Бувай здоров! Kehrt euch, marsch!

Гриць обернув ся і пішов. Тільки при дверех мов нагадавши щось він обернув ся, підійшов до стола і положивши на ньому свій „гоноровий“ перстїнь, промовив:

— Віддаю вам се назад! Може... знайде ся... хтось... гіднійший.

Він промовив ті слова уривано, зацукуючи ся, мов на силу видушував їх із горла, а потім салютуючи обернув ся і вийшов геть.

Усі проводили його очима до самого порога, але ніхто не рушив ся з місця. А коли

Гриць вийшовши запер за собою двері, генерал мовив :

— Славний хлопець! Нікодиме, до тижня маєте приєднати його для нашої справи. Се не легка річ, але можлива. А тепер зачкніть двері і укладаймо плян кампанії!



XVI.

Нікодимови не довело ся більше бачити ся з Грицем. Два дні по тій гостині він одержав від батька лист: старий був тяжко хорий і просив його зараз приїхати до нього. Нікодим поїхав і не вернув аж за місяць. За той час він устиг поховати батька і продати задовожене й без того село. Та у нього тільки одно було перед очима: повстанє, що готовило ся у Львові. Він їхав до Львова з рожевими надіями; мав кільканацять тисяч ринських, можна буде розстарати дещо троха оружя, поставити в ряди кілька сот хлопців, а се, здавалось йому, вистарчить на початок, щоб захопити в руки цісарські каси. А там справа піде вже гладко.

У Львові застав цілковите безголовє. Гвардія без доброї коменди, вправляла ся більше в п'ятиках, ніж у воєнній дисципліні, полковник скинув ся коменди, генерал Бем знеохоче-

ний плюнув на все і виїхав до Відня. Та з другого боку серед людности зростав, як йому здавалося, запал до повстання, німецькі урядники купами тікали зі Львова, військо не могло спокійно ходити по вулицях, сварки і бійки гвардіяків та міщанської молодіжи з вояками були щоденною справою, так що головний комендант львівської залоги генерал Гаммерштайн забронював воякам виходити на місто. По касарнях стояло день і ніч оружне поготове, на цитаделі набиті гармати були націлені на ратуш, де урядував революційний „Міський віділ“, і на театр, де галасувала не менше революційна „Рада Народова“. Обопільне роздрознене змагалося. Всі почували, що мусить прийти до вибуху, та ніхто не хотів починати.

Вибух явного повстання на Угорщині долив оливи до огню і прискорив катастрофу. Угорські вояки, що стояли постоями в Галичині, купами кидали службу і з оружжем утікали за гори, аби стати в рядах повстання; се ослаблювало сили уряду в Галичині. Та з другого боку бігло на Угорщину чимало Польяків ласих на всяку революцію, і се ослаблювало силу сподіваного повстання в Галичині. Міський віділ вислав своїх делегатів до Пешту, аби порозуміти ся з Кошутом про спільний плян діляня; з другого боку Гаммерштайн розпускав по Львові вісти, що в разі вибуху повстання покличе руське селянство з околич-

них сіл і затопить місто в крові повстанців. При урядовій заохоті і підмозі організувалися по містах руські гвардії, а по селах збирали тисячі підписів на петиції за поділом Галичини. Поляки чули, що земля горить у них під ногами і робили шалені скоки, що прискорювали катастрофу.

Нікодим, так сказати, з головою кинувся в ті спінені, розбурхані хвилі революційного руху. Він був душею всього, бігав, говорив, платив, підмовляв, приєднував, плакав і грозив, де було треба. Невеличкий запас озброєння був уже на поготові; були деякі надії на зраду в гарнізоні, була майже певність, що Русини не такий небезпечний противник, були обіцянки воєнної підмоги з Угорщини, скоро тільки удасться перший удар.

Було се д. 1 листопада 1848 року. Сей пам'ятний для Львова день хилився вже до вечера. На Високім замку гриміли гармати. Ратуш тільки що розсипався в розвалини від гарматних куль. Академія і театр із сумежними будинками палали величезним огнищем. Ціле середмістя було як пекло. Крик, писк, біготня, тріск меблів викидуваних на вулицю, гоїкання гвардіяків, ремесників і всякого дрібного люду, що зривав тротоари і з навалених меблів, повозів та каменя робив барикади. Лускіт вистрілів, зойки ранених, стогнання конуючих.

Військовий відділ обсадивши готель Жоржа з боку зайшов до гирла Галицької вулиці, що була заперта барикадою проти теперішнього склепу Балабана. Дві полеві гармати бухнули в той отвір градом картечів, та барикада остояла ся. За неї повстанці відповіли не густими, але влучними карабіновими вистрілами. Кілька вояків упало, решта розсочила ся на боки. Знов заграли картечівниці, — барикада ще стояла, але вистрілів ізза неї не було чути.

— До штурму! — гукнула коменда і укриті доси за каменцями вояки збігли ся на вилеті Галицької вулиці і пустили ся бігти до барикади. Та в тій хвилі грюкнула зза барикади сальва вистрілів, залунали крики в рядах вояків, кілька ранених упало, решта мусіла знов відступити.

Тільки один лишив ся. Се був Гриць. Він стояв на місці, мов прикований тим видом, що розстилав ся перед ним. На барикаді підняла ся раптом висока, зачорнена порохом фігура панича Нікодима Пшестшельського. Його очи горіли диким огнем. У руках мав він білочервону хоруговку з вишитим на ній польським білим орлом. Піднявши її високо і махаючи нею в напрямі до вояків, він крикнув що сили:

— Niech żyje Polska niepodległa! Za mną, bracia!

Щось страшне, болюче ворухнуло ся в Грицевій душі. Перед ним промигнуло бать-

кове лице, сумне та знесилене, як було того памятного вечера після панських побойів, і його слова: „Панським гарним словам не вір, їх обіцянки май за нізащо, памятай, що їх Польша, то хлопське пекло!“ І чи не правду мовив батько? Адже ось тут коло нього лежать постріляні хлопські сини, а їм бач чого забагають ся!

Се міркуване не було й міркуване, се були якісь наглі блиски в Грицевій голові, якісь конвульсійні рухи в його серці. Рівночасно з ними, майже несвідомо, машинально, його руки вхопили карабін, підняли його, навели... Майже не мірячи він потягнув за курок. Грюкнув вистріл і трафлений в саме серце Нікодим Пшестшельський на лице повалив ся з барикади.

В тій хвилі сильна рука з боку вхопила Гриця за плече і потягла за ріг каменниці. Була крайня хвиля, бо в той самий момент ізза барикади гукнула ще одна сальва, а з противного боку ще раз гаркнули картачівниці. З хрускотом упала барикада, з скриком розскочили ся повстанці. Нова коменда — і вояки одною сальвою очистили вулицю аж до самого ринку. Повстанє було скінчене.

Гриць ішов у ряді, робив усе на коменду, але не тямив нічогосінько. Вистріл, що повалив панича, бачилось, прошиб і його власне серце. Довго ще потім він ходив мов сам не свій, не

Ex libris

Behdan Krawciw

тямив анї того, що говорив при рапортї — здасть ся, за нього говорив Осиц, — анї що було з ним, коли йому перед цілим полком голосили відзнаку і припинали медаль за хоробрість. Тільки тоді отямив ся, коли йому оголошено, що за його незвичайну заслугу і на просьбу старого батька йому дасть ся необмежений урльоп з військової служби. Сам генерал Гаммерштайн зібрав між офіцерами сто ринських для нього на дорогу.

Усе те в Грицевій тямці промайнуло мов дивий, важкий сон. Він вповні отямив ся аж тоді, коли дихнув рідним гірським повітрям, уцілував руки батька і матери, та привитав ся з рідною хатою.

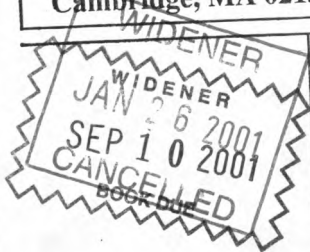
Ex libris
Bohdan Krawciw



The borrower must return this item on or before the last date stamped below. If another user places a recall for this item, the borrower will be notified of the need for an earlier return.

*Non-receipt of overdue notices does **not** exempt the borrower from overdue fines.*

Harvard College Widener Library
Cambridge, MA 02138 617-495-2413



Please handle with care.
Thank you for helping to preserve
library collections at Harvard.

